Роллан СЕЙСЕНБАЕВ

ТРОН САТАНЫ

Роман

Продолжение. Начало в № 8–9, 2026.

«Вот выучусь у Кайрата “изобразительному искусству”, тогда мы с тобой потолкуем», – шутливо пригрозил Оскен Майре и тоже предложил ей потанцевать.

«Э-э, так не годится, – запротестовал Султан. – Что ж я один буду сидеть? – Он подошел к Баян и церемонно склонил голову: – Позвольте вас пригласить, если, конечно, ваш кавалер не будет возражать».

«Не будет, – сказал Кайрат. – Возразить тебе – значит тут же нажить смертельного врага».

Но танцы как-то сами собой расстроились. Вошедший в комнату поэт Керим, посмеиваясь, обнял Султана.

«Я еще не встречал человека, который бы переговорил тебя», – сказал он, похлопывая его по плечу.

«Ты где ходишь, мы уже час как здесь сидим», – набросился на него Султан.

«Керим помогал родителям, ты его не трогай», – заступился за друга Даулет.

Баян, прислонившись к стене, посмотрела на Кайрата. Кайрат почувствовал на себе ее взгляд, поднял глаза и кивнул ей, как бы спрашивая: «Что скажешь?» Баян покачала головой, улыбнулась, но взгляда от Кайрата не отвела. Он встал, подошел к Баян, взял ее за руку и сказал Султану: «Султеке, дорогой, вы теперь немножко отдохните, аксакал...»

«Вас понял!» – Султан поклонился Баян и сел за стол. «Керим, – спросил он, – неужели я выгляжу как человек, которому уже пора на отдых?»

«Я хочу танцевать только с тобой!» – сказала Баян.

«И я хочу танцевать только с тобой. Ты такая красивая, Баян».

«А ты такой умный, такой добрый...»

Майра и Оскен вышли на балкон.

«Хорошие ребята, – сказал Оскен. – Сначала они мне не очень понравились».

«А Дана какая! Нежная, изящная, деликатная...»

«Всё равно лучше тебя нет никого на свете», – Оскен обнял Майру и поцеловал ее.

«Не говори так! Надо быть справедливым. Дана красивее, умнее и образованнее меня...»

«Для меня ты лучшая девушка на свете, – упрямо повторил Оскен. – Это просто чудо, что мы встретились с тобой. Ты знаешь, весь аул будет на нашей свадьбе. Брат написал, что готовит своего коня к скачкам...»

«Может, справим свадьбу после окончания университета?» – спросила Майра, поглаживая Оскена по плечу.

«Нельзя, – коротко ответил Оскен. – Сама знаешь почему. И говорю ж я тебе, что все родственники, весь аул готовится к нашей свадьбе...»

Каждое свое слово он произносил твердо, уверенно, как бы показывая тем самым, что не намерен отступать от своего решения.

«Я так люблю тебя, Оскен», – прошептала Майра.

«А теперь давайте выпьем за будущую невесту нашего Султана», – сказал Керим, подмигнув Дане и Даулету.

«Я женюсь только тогда, когда получу и сделаю большую самостоятельную работу. Памятник, монумент или мемориальный комплекс», – заявил Султан.

«Боюсь, с твоим характером тебе еще долго придется ждать», – сказал Керим.

«Тогда мне всю жизнь придется ишачить на этого бездарного Сатбазарова!» – вспыхнул Султан.

«Не задевай его, Керим, – тихонько сказал Даулет. – Видишь, он начинает злиться».

«Творить, как Бог! Приказывать, как Царь! Трудиться, как Раб! – сказал Султан. – Вот что значит настоящее творчество».

«Всё это прекрасно, но кому ты будешь приказывать?»

«Придет, придет время, Даулет, не торопись. Я своего не упущу и на мелочи не разменяюсь. Я буду ждать, терпеть... И однажды он наступит, мой день. Был бы жив мой народ, и мой день непременно придет».

Даулет с любопытством посмотрел на него. Кажется, скульптор заговорил всерьез.

«Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра передо мной окажется камень, в который я вдохну жизнь».

«Я слышал, объявлен закрытый конкурс на памятник аль-Фараби, – сказал Керим. – Почему бы тебе не принять участие? Рискни...»

«Знаю я эти конкурсы, – отмахнулся Султан. – Обычно в них участвуют два типа людей. Одни готовы ради славы и известности мать-отца продать, а вторые – загодя знают, что победят, не талантом, так силой или связями...»

«Что-то ты сегодня особенно красноречив, – сказал Даулет. – И я думаю, ты не совсем прав. Тем более что конкурс закрытый...»

«Да я не о том говорю, – снова разозлился Султан. – Я о том, что слава и известность – злейшие враги художников. Слава и известность – две шлюхи, они обманывают художника, смеются над ним. Надо уметь в нужный момент показать им спину. Только тогда они будут за тобой бегать, а не ты за ними. Может, я плохо объяснил?»

«Ты хорошо объяснил, – сказал Даулет. – Я не знаю, великий ты скульптор или нет, но, по-моему, у тебя есть шанс, чтобы стать крупным теоретиком по части славы и известности...»

Султан набычился, соображая, всерьез говорит его друг или смеется над ним.

«Дана, переверни, пожалуйста, пластинку», – попросил Кайрат, не выпуская Баян из своих объятий.

Дана подошла к проигрывателю.

«Спасибо», – сказала ей Баян, когда вновь заиграла музыка.

«Танцуйте, танцуйте», – улыбнулась им Дана.

«Ты где проводишь каникулы?» – спросил Кайрат.

«Каникулы? – Баян задумалась. – Поеду домой. Мама уже полгода лежит в больнице. У нее легкие».

И Кайрат со стыдом подумал, что почти ничего не знает о Баян, никогда не спросит ее о семье, о том городе, откуда она приехала.

«Мой папа работает в Семипалатинске. Он – юрист, судья. – Баян, словно угадав его мысли, стала рассказывать ему о своих домочадцах. – Брат Абылай учится в школе...»

«Он похож на тебя?»

«Нет, он весь в бабушку».

«А как зовут вашу бабушку?»

«Макпал. Вот она действительно умный человек. Напиши ее портрет, и ты победишь на любом конкурсе», – засмеялась Баян.

«Для этого мне нужно приехать к тебе в Семипалатинск, – сказал Кайрат. – Ты не станешь возражать?»

«Будет время – приезжай. В Иртыше станем купаться, ягоды пойдем собирать», – сказала Баян.

«Время... найдем, – замялся Кайрат. Летом ему предстояло ехать в Чимкент к родителям Катиры, и он только сейчас с тоской вспомнил это. – Ладно, посмотрим! – вдруг сказал он уверенно. – Посмотрим! Поживем – увидим!..»

«Через неделю у нас последний экзамен. Значит, я жду тебя...»

«В Алма-Ате?»

«Нет, в Семипалатинске...»

«Посмотрим, – снова сказал Кайрат. – В любом случае я тебе напишу. – Он оглянулся. – А где Майра с Оскеном?»

«Они на балконе», – сказала Баян, внимательно глядя на него, ибо каким-то ей самой непонятным образом поняла – с ним творится что-то неладное.

«Выключите музыку. Я хочу почитать стихи, – сказал Керим. – Баян, Кайрат, садитесь...»

«Они не глухие. Будут танцевать и заодно слушать», – заступилась за них Дана.

«Это не те стихи, под которые можно танцевать. И не думайте, что я их автор», – нахмурился Керим.

С балкона пришли Майра и Оскен.

«Чьи это стихи? Ты сначала автора назови, а то мы, может, и слушать не станем», – сказал Султан.

Керим, не обращая внимания на его реплику, прокашлялся и закрыл глаза:

«Свет полуденный! Жизнь моя!
Неужели исчезну я
в темноте навсегда бесследно,
на безрадостном берегу
слова вымолвить не смогу,
крикнуть, выдохнуть хрип последний?
Может, мёртвые скажут мне,
что такое жизнь? Что такое жизнь?
Родившаяся во мгле
вспышка света? Звезда во сне?
Горизонт в золотом огне
над могильной моей плитою?

Я дышу, ожидания полный,
я из гроба встаю, крича:
возвратите сияние полдня!
Каплю солнечного луча!
Только ныне я понял: жизнь –
это солнца крутая сила.
Разгорайся, моё светило,
вечно здравствуй, живи, держись!
Белый, жёлтый, алый, багровый,
лейтесь, радужные лучи!
Голос мой, из-под крышки гроба,
из-под крышки гроба звучи».

Он отпил воды и замолчал, глядя на всех в упор. Баян шепотом повторила две последние строчки: «Голос мой из-под крышки гроба, из-под крышки гроба звучи...»

«Это стихи Мукагали», – сказала Майра.

«Самые известные его стихи», – добавила Баян.

«У наших художников большой пробел в знании национальной поэзии», – сказала Дана, задумчиво глядя на мужа и его друзей.

«Мне действительно незнакомо это имя, – признался Даулет. – Но какая пластика, какой удивительно чистый звук, какой безграничный простор за всем этим открывается. Сколько благородства, сколько изящества в его строках. И гражданственности – далекой от пошлой конъюнктуры. Я рад, что у нашего народа есть такие поэты. Это значит, наша поэзия снова на подъеме».

«Он напоминает мне Николая Рубцова, есть такой русский поэт, – сказал Султан. – Я знаю Мукагали, но не очень люблю его стихи. Вернее, не всегда понимаю, что он хочет сказать...»

«А у нас в аулах его стихи знают наизусть. Простые табунщики, чабаны», – возразил ему Оскен.

«Керим, ты можешь нас с ним познакомить?» – спросил Кайрат.

«Нет, теперь уже не могу, – сказал Керим, и на его глаза навернулись слёзы. – Вчера он умер. Прости меня, Дана, и ты, Даулет, прости, что я в такой радостный для вас день говорю о смерти. Я не хотел, я держался, я пытался веселиться, но уж так получилось, и я думаю, что вы простите меня. Ведь ушел из жизни самый большой поэт Казахстана. А когда он был жив, мы все хотели учить его уму-разуму. Мы, жучки-паучки, букашки и козявки, говорили ему примерно так же, как выразился сейчас Султан: “Разве это стихи? Что ты хочешь этим сказать?” Я не осуждаю Султана, в свое время сам был в числе таких. Слава богу, что вовремя понял, с кем имею дело...

Мы не воры и не убийцы. Мы – сироты!
Нас мороз обжигает лютый, обогрейте нас добрым словом.
Этот мир, что холодом скован, оживите, добрые люди.
Никому не желаем зла. Никого не обидим зря.
Мы – сироты, сироты! Жаждем справедливости и добра.
Над холодной печалью гроба нам чужды обида и злоба,
ибо людям любых широт нынче время стоять бок о бок

ради всех на земле сирот! – в голосе Керима слышались и волнение, и торжество. – Разве это стихи? Нет, это вершина, доступная лишь орлиному усилию великого человека. А кто мы? Мы кто? Да мы не достойны даже воды полить на руки Мукагали, державшие перо, которым написаны эти строки. И многие из нас поняли это только сейчас, когда его не стало».

Тяжелая, неловкая тишина воцарилась в комнате после его горячего монолога. Из гостиной доносились приветственные возгласы подгулявших гостей, а у ребят не хватало сил поднять глаза и посмотреть друг на друга. Все они, будто сговорившись, уставились в пол.

«Сколько ему было лет?» – спросил притихший Султан.

«Сорок пять».

«Самый возраст для художника. Так уж устроена жизнь, что настоящий художник только к сорока годам и раскрывается...»

«Султан прав. Мне, например, хватит и десяти лет. Сколько успею сделать за это время, столько, значит, и отпущено мне. Если я успею за это время стать настоящим художником, то согласен через десять лет уйти в мир иной...»

Все удивленно поглядели на Даулета, ибо никто не ожидал от него таких странных слов. Дана, вздрогнув, ухватила его за рукав.

«Ты что? – Лицо ее выражало испуг. – Разве можно так говорить? Разве можно шутить со смертью?»

«Прости, я так сказал, вырвалось», – начал оправдываться Даулет.

«Ты еще молод, старик. Доживи хотя бы до моих тридцати семи, а потом решай, когда тебе помирать», – великодушно разрешил Султан, обратив слова Даулета в шутку.

Он выпрямился во весь свой рост и сказал: «Друзья, давайте помянем нашего Мукагали. Пусть ему земля будет пухом!..»

Кайрат и Даулет стояли на балконе. Даулет оперся на плечо Кайрата и, оглянувшись на дверь, сказал:

«А ведь правда, мне достаточно десяти лет. Если я сделаю всё, что задумал, ни одного дня себе больше не пожелаю. Я хочу умереть ранней весной, когда зазеленеет трава, побегут ручьи, когда мать-природа с радостью раскроет свои объятия солнечному дню...»

«Хватит об этом! – перебил его Кайрат. – Нам нужно жить. Ты представляешь, сколько забот ляжет на наши плечи, а? Нашу работу никто за нас не сделает, и нашу жизнь никто за нас не проживет. А работы нам надолго хватит».

Разговор прервался, когда на балкон вышла Дана. Друзья сразу же заговорили о чем-то незначительном, стали поглядывать на небо.

«Завтра будет тепло», – сказал Кайрат.

«Завтра мы уезжаем на Иссык-Куль, – сказала Дана. – Вот было бы здорово, если бы мы все поехали...»

«Хоть месяц побудете одни, – со смехом отозвался Кайрат. – Мы вам еще успеем надоесть».

«В полдень приходите нас провожать».

«Обязательно придем».

«Смотри, не забудь взять с собой Баян. Она мне нравится», – улыбнулась Дана.

Черные глаза ее сияли радостью. Склонив голову на плечо мужа, она безмятежно и спокойно смотрела на ночные звезды…

– Позовете меня, когда нужно будет горячее нести, – сказал официант.

– Спасибо... – Кайрат проводил его взглядом и вновь повернулся к Баян. – Сегодня, оказывается, нет оркестра.

– А тебе нужна музыка? – удивилась она. – Ты до сих пор любишь танцевать?

Ее смех ободрил Кайрата.

– Наоборот. Я последнее время плохо переношу всякий шум.

– Устал?

– Устал.

– Тебе нельзя уставать. Если ты устанешь, кто казахам картины будет писать?

– Да? Даже так?

– Так...

Они помолчали.

– О чем ты сейчас думаешь? – спросила Баян.

– Я думаю, зачем ты сюда приехала. По-моему, ты не очень рада видеть меня, – ответил Кайрат.

– Возможно, – согласилась Баян и добавила: – Это возможно. Но стоит ли нам грустить и жалеть о прошлом?

– Ты очень изменилась.

– Я? А ты? Тоже не тот, что раньше.

– Я развелся с женой. Дочка осталась с ней, – сказал Кайрат.

Баян промолчала.

– Уже два года, как я живу один.

– Ты вызвал меня, чтобы сообщить об этом? Уж не начнешь ли ты сейчас жаловаться на свою жену?

– Нет, – сказал Кайрат. – Ты меня неправильно поняла.

– Не надо никого ругать. Мы сами во всем виноваты. – Баян пристально посмотрела на Кайрата.

Она смотрела на человека, которого полюбила сразу, без оглядки, на всю жизнь, навсегда, которого столько раз пыталась вычеркнуть из своей жизни, но не смогла, как ни старалась, и от любви к которому ей предстоит страдать всю жизнь, да, всю долгую жизнь, потому что разлюбить его невозможно, нет, невозможно, так же, как невозможно быть с ним...

И внезапно она поняла смысл перемены, происшедшей с Кайратом. Он начал стареть. Он очень одинок, хоть и пытается держаться молодцом. Ему худо. Ему плохо. Она действительно нужна ему.

И вместе с этой догадкой женская душа ее вновь наполнилась жалостью и сочувствием к Кайрату. Она ему нужна. Не тело ее, не воля, а совсем крохотное сочувствие, доброта ее были ему нужны. Только это, да... Баян протянула руку и накрыла ладонью его ладонь. Посмотрела ему в глаза. Точно так же она смотрела ему в глаза тогда, давно, в первый раз... да, смотрела, и он смотрел, читая в ее глазах страх, любовь, надежду. А теперь что можно прочесть в ее глазах? Конечно же, не то, что тогда... в первый раз... в ту первую их ночь. Что?.. Жалость? Понимание? Сочувствие? Презрение? Что?.. Но как она смотрела на него тогда, в ту ночь!..

Кончилось свадебное застолье, и все они вышли на улицу.

«Куда спешишь, проказница? Пошли домой», – уговаривала ее Майра, но Баян, не сказав ей ни единого слова, взяла Кайрата под руку, и они свернули в ближайший переулок.

На другой день утром Майра выговаривала ей: «Я всю ночь не спала, всё тебя ждала, шалунью, всё волновалась. Ты не наделала глупостей, а?»

«Нет, нет, со мной всё в порядке. Я чиста. Со мной всё хорошо, – сказала Баян и призналась: – Знаешь, мне так спать хочется...»

«Ложись», – сказала ей Майра, взбивая подушку.

Милая Майра!.. Как она была добра к людям, как она была добра ко мне! Такой заботливой подруги мне уже никогда больше не встретить. Светлая память ей и ее доброте, которая умерла вместе с ней! Милая Майра, ты так быстро, так рано ушла из жизни, и никто никогда не сможет заменить тебя...

«У меня беспорядок, не пугайся», – предупредил Кайрат, открывая дверь своего флигеля. И правда – на окнах, на полу, на столе валялись рисунки, стены были завешаны акварелями, картинами. Картины, картины, картины...

Обнаженные фигуры. Баян смутилась, увидев эти изображения. Там, у Даулета, – другое дело, там – Модильяни, и на выставке она не стыдилась бы, но здесь, у Кайрата, в его комнате, в которой он живет, ест, пьет, ей поначалу стало как-то неловко, но потом эту неловкость сменила неожиданная ревность. Совсем освоившись, она невольно стала сравнивать этих женщин с собой и тут же успокоилась, поняв, что им до нее далеко. Пожалуй, лишь эта рыжая годилась ей в соперницы, которую Кайрат изобразил лежащей на диване так, что длинные волосы почти закрывали ее спину. Нет, и этой далеко до Баян. Она часто вспоминала потом с улыбкой, как в ту ночь мысленно победила всех натурщиц Кайрата.

Лишь на следующий день, к вечеру, когда она уже выспалась и дожидалась Майру, которая ушла с Оскеном в кино, она невольно опять вспомнила эту рыжую девушку и загрустила, не желая обманывать себя. Вспомнив ее, она вдруг не нашла в ее красоте ни малейшего изъяна и в досаде постучала маленьким кулачком по столу... Тайна красоты, как разгадать ее?..

...Когда Кайрат выключил свет, Баян, испугавшись, напустилась на него: «Немедленно включи! Зачем ты это сделал?»

«Не бойся, – ответил Кайрат. – Лучше посмотри, какая ясная луна на небе. Сейчас вся комната засияет...»

И действительно, ее глаза быстро привыкли к полумраку. В лунном сиянии таинственно отсвечивали картины, лунная дорожка протянулась от окна до порога. Баян и Кайрат стояли у окна. Вот тогда она и посмотрела на него этим пристальным взглядом, полным страха, любви и надежды.

«Не бойся, – сказал Кайрат. – Не бойся».

Но голос его почему-то дрожал. Баян молча покачала головой, не отводя от него взгляда. Из радиоприемника еле слышно звучала музыка Шопена. За окном светало. Баян всё смотрела и смотрела на него. Кайрат что-то говорил, и ей казалось, что, если она перестанет на него глядеть, у него снова задрожит голос…

– Мне кажется, ты куда-то исчезаешь из этого ресторана, – сказал Кайрат.

– Куда? – задумавшаяся Баян не поняла его фразы.

– Может, в прошлое, а может, и в будущее, кто знает...

– А-а-а… – сообразила наконец Баян. – Иногда, наверное, бывает такое, когда встречаются старые друзья.

Она хотела сказать «любовники», но не сказала.

– Разве мы только друзья? Разве мы не любили друг друга?

– Не знаю, как ты. Я действительно любила...

Кайрат смолчал в ответ. Он барабанил пальцами по столу.

Баян давно уже чувствовала на себе чей-то чужой взгляд, но намеренно не оборачивалась, думая, что нахал отстанет сам собой. Она случайно глянула на соседний стол и тут же отвернулась, успев заметить, что там сидят несколько мужчин и женщина. Здоровенный черный мужик, занявший место во главе стола, буквально сверлил ее взглядом. Все лицо его было в розовых шрамах, как от ожогов, отчего вид у него был особенно устрашающий.

– Смотри, я, по-моему, понравилась людям, сидящим за тем столом, – сказала она Кайрату.

– За каким? – Кайрат тоже оглянулся. – А что, хорошие люди, – пошутил он и не успел больше ничего добавить, потому что здоровяк со шрамами вдруг бросился к ним.

– Кайрат! Баян! Здорово, ребята! – завопил он на весь ресторан.

Баян растерялась, а Кайрат пошел ему навстречу.

Баян внимательно присмотрелась к мужчине, и лицо его вдруг показалось ей знакомым. Люди, оставшиеся за соседним столом, тоже посматривали на них с недоумением, замерев и нахохлившись в ожидании неизвестно чего.

– Баянжан! – крикнул здоровяк, и тут она мгновенно узнала его.

– Оскен? Ты ли это? – приподнялась Баян.

– Он самый! – Оскен своими здоровенными лапами ухватился за руку Баян и поцеловал ее в лоб. Глаза его были полны слёз. Он обнял Кайрата.

– Друзья мои, я наконец-то встретил вас! Какая радость! – заговорил он. – Айналайын, Баянжан!.. – Он неожиданно осекся и сел на стул. – Я плачу, но вы поймете меня. Я так скучал по вам, так скучал... Баян, может, не к месту говорю, не сердись на меня, но я снова женился... покойница Майра занимает в моей душе особое место, память ее для меня священна, но не судьба, знать, была нам пройти по жизни рука об руку до самой гробовой доски. Что делать? Человек может жить в свое удовольствие, может считать себя пупом земли, но перед лицом судьбы он оказывается беспомощнее муравья... Эти люди – активисты нашего совхоза, а я его директор. Мы все приехали на областной пленум по животноводству. Три года уже, как я работаю директором. А вот эта женщина – моя жена Балзия.

– Так зови своих, посидим вместе...

– А может, двинем к нам в совхоз, а? Когда я теперь еще вас увижу? Помянем Майру, вспомним Алма-Ату. Давайте так сделаем, Баянжан? – предложил

Оскен и вздохнул. – Откуда вы? Как появились в Усть-Каменогорске? Не сон ли мне приснился?

– Утро вечера мудренее, Оскен, давай об этом завтра подумаем, ехать нам в совхоз или нет, – сказал Кайрат.

– Хорошо, тогда пересаживайтесь за наш стол.

– Да там и так тесно, – сказал Кайрат.

– А я сейчас попрошу, нам еще столик поставят...

– Оскен, может, не надо ничего? – сказала Баян и повернулась к Кайрату.

Но Оскен перебил ее:

– Нет, надо. Вы – наши гости. Мои гости...

– Подожди, Оскен, – остановила его Баян. – Твой друг Кайрат живет в люксе и весь вечер рвался заказать ужин в номер. Хорошо, что мы встретились так кстати – теперь наконец нам и люкс пригодится. Поговорим о прошлом, вспомним Майру. Здесь, в ресторане, для этого не очень-то подходящее место. Кайрат, пойди договорись с официантами, а заодно пригласи жену и друзей Оскена...

Она говорила спокойно и уверенно, даже слишком, будто приказ отдавала.

Они поднялись в номер Кайрата. Балзия сразу понравилась Баян: веселая, радушная женщина, чем-то неуловимо напоминавшая Майру. Познакомившись с Кайратом и Баян, она стала извиняться, слегка при этом подтрунивая над мужем:

– Неудобно как-то получилось, вы уж нас простите, это всё наш Оскен, вечно вот такие крутые повороты делает...

Что имелось в виду под «крутыми поворотами», было не совсем понятно, но она между делом что-то шепнула одному из спутников Оскена, и молодой парень быстро куда-то сбегал, возвратившись с сумкой, полной оленины, казы, шужыка, нес он и кумыс в большом торсыке.

– Баянжан, наши-то ребята пошустрее городских официантов, а? – засмеялся Оскен. Он уже оправился от печальных воспоминаний, лицо его сияло, с радостью и даже умилением смотрел он на Кайрата и Баян. – Ну, молодежь, вы пока накрывайте на стол, а я сейчас представлю вам своих старых друзей. – Активисты совхоза согласно закивали, и Оскен продолжил: – У каждого из вас есть дома настенный календарь, вы получаете «Мәдениет және тұрмыс». Там была репродукция картины известнейшего художника Казахстана Кайрата Маусымбаева «Молодые». Этот художник сейчас стоит перед вами...

Некоторые из спутников Оскена действительно видели эту картину, другие сделали вид, что знают ее, не желая обижать «известнейшего художника Казахстана», но, во всяком случае, никто не возразил оратору. Про Баян Оскен сказал, что она «крупный журналист республиканского значения».

– В «Казахстанской правде» в трех номерах подряд печатались ее острые статьи о проблеме культуры на селе, – добавил он, и активисты оживились. Выяснилось, что все они знакомы с этими статьями и, более того, даже обсуждали ее материал на партийном собрании. – Мы вместе учились в Алма-Ате, вместе веселились, вместе делили и радость и горе. Именно они, мои друзья Кайрат и Баян, открыли мне глаза на жизнь. Правда, слова, которые мне Кайрат тогда говорил об изобразительном искусстве, вылетели из моей головы, надо было мне их тогда записать, а то ведь сколько я потом ни приезжал в Алма-Ату, никак не мог его больше встретить, а спросить было некого, потому что он там первый по этой части человек, – пошутил в конце своей речи Оскен.

А Баян вспомнила, как после сдачи последнего государственного экзамена Майра собиралась в родильный дом.

«Видишь, как хорошо всё складывается, – приговаривала она, – и университет я закончила, и замуж вышла, теперь Оскену лунолобого сына рожу... А на Кайрата ты не держи обиду, Баян, – сказала она подруге напоследок. – Не осуж-

дай его за то, что он скрыл свою женитьбу. Он действительно любит тебя и будет любить всю жизнь, еще помянешь мои слова. Но и тебе нужно выходить на свою дорогу. Так что не отрывай его от жены и ребенка».

«Я не обижаюсь на него, Майра, – ответила Баян. – И не собираюсь ломать его жизнь. Тем более что он не сделал ничего против моей воли. Я осталась с ним, и я пошла к нему сама, и то, что у нас случилось, было уже после того, как он сказал мне, что женат. Он ни в чем не виноват. Я его тоже люблю. И тоже буду любить всю жизнь...»

Майра прижалась к ней.

«Разве это не счастье, любить и быть любимой? Знаешь, мне кажется, в мире нет ничего прекраснее любви...»

Через неделю она умерла при родах. Оскен, обняв Баян, долго плакал, плакал горько, навзрыд, но Баян, сама сраженная жестокостью этой несправедливой смерти, ничем не могла успокоить его. Она наблюдала за Оскеном, и ей показалось, что вот уж кто-кто, а он-то ничуть не изменился: говорит, что думает, может вспылить и тут же отойти, пошутить и поплакать. Внешне, конечно, он стал совсем другим: возмужал, отяжелел, лицо обезображено шрамами. «Вот бы случилось чудо, и рядом с ним вновь оказалась Майра», – невольно подумала Баян и улыбнулась, представив, как ее бойкая подруга тут же настояла бы на своем и увезла их с Кайратом в совхоз немедленно, не слушая никаких возражений.

– Балзия, утром встанешь пораньше, нужно сделать необходимые покупки. Кайрат и Баян будут нашими гостями, – сказал Оскен.

– Конечно же, они поедут к нам. Неужели мы здесь распрощаемся? – Балзия ласково посмотрела на Кайрата и Баян. – И ты хоть несколько дней дома побудешь, а то всё лето тебя не вижу – то у тебя сенокос, то уборка, – засмеялась она.

– Хорошо сказала Балке! – Главный бухгалтер совхоза тоже засмеялся и поколотил кулаками свой объемистый живот.

– Мы случайно встретились сегодня, Оскен, и это очень желанное, очень радостное для нас событие. Давайте почтим память Майры, она была близка нам, и мы никогда не забудем ее, – сказал Кайрат и поднялся. А когда все сели, добавил: – Сегодня мы впервые видим Балзию, и нам хочется выпить за ваше с ней счастье, Оскен. За вас и за ваших детей! Дай вам Бог радости в жизни!

– О, барекелды! – Главный бухгалтер прослезился и, потирая бритую голову, опрокинул рюмку.

Вскоре люди из совхоза, не желая стеснять встретившихся старых друзей, попрощались и разошлись.

Поднялась и Балзия, сославшаяся на то, что ей завтра утром рано вставать.

– Ты посиди еще, – сказала она мужу. – Поговорите по душам. А с вами я не прощаюсь, – обратилась она к Кайрату и Баян. – Завтра все вместе к нам поедем.

– Мне кажется, Балзия хороший человек, – сказал Кайрат, когда дверь за ней закрылась.

– Хороший, очень хороший, – согласился Оскен. – Когда я работал в совхозе механиком, у нас загорелись мастерские, и мне на этом пожаре опалило и лицо, и руки. Я три месяца потом в больнице провалялся, и всё это время Балзия была рядом со мной. Она в тот год только что приехала в наш совхоз учительницей. Когда мне сняли повязку с лица и я впервые посмотрел в зеркало, то подумал – мама родная, теперь не бывать никакой моей женитьбе. Но Балзия настояла на своем, и мы поженились. Если б не она, я, может, и по земле-то сейчас уже не ходил, кто знает. Так как же мне не уважать, как не лелеять такую женщину?..

Когда они наконец остались одни, Кайрат открыл окно.

– Смотри, – сказал он, выключив свет. Полная луна светила прямо в окно, блики ложились на стены, лунная дорожка протянулась от окна до порога.

– Как тогда, – прошептала Баян. – Как тогда...

– Да, – сказал Кайрат. – Как тогда, там, в Алма-Ате.

– Не радуйся, – сказала Баян. – Не радуйся. Нам никогда не быть вместе. Мы никогда не будем счастливы.

– Неправда, – сказал Кайрат, крепко обняв ее. – Теперь я никуда тебя не отпущу, теперь я навсегда с тобой.

– Я боюсь, Кайрат, боюсь... – Она прижалась к нему. – Смотри, какая луна... как тогда... помнишь, когда мы впервые остались наедине... Как тогда, луна матово блестит, и стены отсвечивают, и лунная дорожка... Она снова принесет нам несчастье, эта луна...

– Не бойся, что ты? – Кайрат обнял ее и, несмотря на слабое сопротивление, стал целовать в губы, шею, глаза. – Не бойся, я никому тебя не отдам... Никому... Никогда...

По ее телу прошла сладостная дрожь, и в ту же секунду вспыхнула ее горячая кровь, тяжелая чугунная дверь, за которой молодая женщина прятала всю свою неутоленную страсть, раскрылась, с нежной силой отвечала Баян на ласки мужчины.

Давно, ох как давно... череда бесконечных месяцев: осень, зима, весна... лето пришло, но и оно незаметно увядает, гаснет... поцелуи, страсть изламывают тело сладкой судорогой, и, подчиняясь чужим сильным рукам, она сама обнимает его, пытаясь всё теснее и теснее слиться с ним, ее руки отдают тепло и ласку, и он тут же возвращает их обратно – ей, такой мягкой и гибкой... И осень, и зима, и весна, и лето: череда бесконечных месяцев ожидания...

И тело, и душа ее снова были в его власти. Мужчина понял это: не отрывая губ, он быстро поднял ее на руки, и она почувствовала, что это душа ее взметнулась ввысь в необъятной жажде, и это чувство, похожее на безостановочное парение, осталось в ней и тогда, когда голова ее коснулась прохладной подушки и по жилам поползли огненные змеи наслаждения. И в этот самый миг, прорвав лунную тишину за окном, низко пролетел самолет. Гул его наполнил комнату, но что было до этого Кайрату?..

Потом они дремали, полностью завладев друг другом. Лунный свет едва обрисовывал их сплетенные тела, и тишина была, лишь капала вода из крана да тихо тикали часы. Заря еще не занялась, еще не высветила окна, когда Баян очнулась. Кайрат спал, но тот самолетный гул в ее ушах вдруг возрос до неимоверного шума, и шум этот, казалось, готов был разорвать ей перепонки.

Она отстранилась от Кайрата и, лежа на спине, посмотрела в потолок. Женщина поняла: покуда жива она, ей ни за что не забыть Омара. Он умер, но душа его существует, воплотившись в тени и видения. Гул самолета, тень его на лунной дорожке в то мгновение, когда она, не в силах победить природу, стала рабыней вожделения, эти ее слезы в тишине... И еще она поняла: бессмысленно и преступно удерживать свои чувства, потому что жизнь всемогуща, и нахлынувшая лавина чувств, сметая все на своем пути, оборачивается новым преступлением, преступлением против совести и зарока, который человек дал самому себе.

Это были страшные откровения, как страшна для нее была в эти минуты явь. Пусть человеку неведомо будущее, но пока в его жилах течет кровь, он должен помнить прошлое. Человек проверяет себя своим прошлым и зорко глядит оттуда в настоящее. Люди со всем их прошлым глядят друг на друга, пытаясь определить, достойно ли они прожили свою жизнь...

Баян вновь повернулась к Кайрату и обняла его, боясь остаться в одиноком плену своих тяжелых дум. «Жизнь, измены… – подумала она. – Однажды, когда Кайрат приехал в Целиноград, я, тайком от Омара, бегала встречаться с ним. А теперь, в объятиях Кайрата, думаю об Омаре... Почему? Почему так всё это?

Омар...» Если бы она могла, то за все грехи перед ним без промедления отдала бы и жизнь свою, и душу. На это у нее хватило бы сил. Но нет сил вернуть прошлое, нельзя вернуть прожитые годы, и в этом высшая слабость человека, ибо он всего лишь человек, но в этом и сила его, и счастье. Сколько ни лей кровавых слез, нам не вернуть и не воскресить прошлое... Но ведь есть же еще и будущее...

Баян смотрела на Кайрата. Он сладко спал. Когда-то, очень давно, она вот так же хотела положить ему на плечи свои белые руки и разрыдаться, ища у него защиты и сочувствия. Когда-то, очень давно, она тоже жаждала высказать ему всё самое сокровенное, хотела выплакать горе, раздирающее ей душу. Лишь Кайрат поймет ее, думала она, он заплачет вместе с ней, он успокоит ее... Когда-то, очень давно, в тот день, когда умерла Майра и они с Оскеном, узнав о страшной вести, шли из больницы к Кайрату... «Только не бросай меня одного, – умолял Оскен. – Я тоже хочу к нему, только к нему, он скажет, он научит, как освободиться мне от этого горя, – о, горе мне, горе потерять Майру, и зачем я жив, если ее больше нет на земле...»

Этот здоровенный парень растерянно глядел на нее, и они шли к Кайрату, ибо только он в тот момент был тем самым человеком, который мог помочь им преодолеть несчастье.

Дверь маленького флигелька в глубине двора была открыта. На веревке висела выстиранная рубашка и сушились синие джинсы. «Он здесь», – облегченно сказала Баян, и они заспешили к дверям домика, но в это время навстречу им вышла молодая девушка с тазиком в руках. Она тряхнула длинной челкой, поставила тазик на порог и приветливо обратилась к ним: «Я стираю, извините... Проходите в дом».

Заметив, что Баян покраснела, Оскен спросил:

«А Кайрат дома?»

«Нет, он на работе».

«Вы его сестренка, да?» – продолжал допытываться Оскен.

«Нет, – так же легко ответила девушка. – Я его жена. Будем знакомы. Меня зовут Катира...» – Она кивнула им, вытирая мыльные руки о передник.

«Баян», – свое имя она произнесла севшим голосом, в горле у нее пересохло.

«Оскен», – хмуро буркнул Оскен, и Баян стало неловко оттого, что он так явно проявил свою неприязнь. И она улыбнулась, но хозяйка, уже заметив эти странности их поведения, растерянно молчала.

«Извините за беспокойство. Будет время, мы еще зайдем. Привет вашему мужу. До свидания», – избегая глядеть на нее, спокойно сказала Баян и, взяв под руку ошарашенного Оскена, пошла прочь со двора.

И если бы Кайрат, который сейчас лежит рядом с нею, видел ее в ту минуту, он вряд ли догадался бы, какой ценою далась Баян эта улыбка. Об этом мог подумать Оскен, но знала – только она сама.

Лишь на заре Баян наконец-то забылась сном. Но сон ее был тревожным и тягостным. На красной скамейке в центре их семипалатинского дворика сидели мать, отец, бабушка, она сама и Омар. Абылай пристроился у него на коленях. Перед ними расположился фотограф с громадным старинным аппаратом на треноге. Он собирался снимать их. «Как это всем нам удалось оказаться вместе? – удивилась Баян. – Мама умерла, но ведь и Омар погиб?..» Вдруг подбежали какие-то люди и схватили Абылая, стащив его с колен Омара. Мальчик плакал. Плащи этих людей шуршали, как будто кто-то еле слышно шептал слова. Мама, папа, бабушка, Омар, она сама вскочили и замерли, не в силах сдвинуться с места. Когда Абылая выволакивали за ворота, он оглянулся и тоскливо посмотрел на Баян. «Почему он посмотрел только на меня?» – удивилась Баян. В жалком, растерянном взгляде брата она прочитала и одиночество, и печаль, и тоску. Со стуком закрылись ворота, и все они ожили, задвигались.

Но это не было осмысленным движением, это было топтанием на месте растерянных, беспомощных людей. Все они ходили вокруг стола, задевая красную скамейку. Ходили и падали один за другим. Сначала упала мать, потом Омар... потом бабушка. Теперь вокруг стола ходили лишь они с отцом. Споткнувшись о тело матери, упал и отец. Теперь она осталась одна, совсем одна в их пустом дворе. Она... одна... «Не падай! – приказала она себе. – Не падай! Если упадешь и ты, кто спасет Абылая? Не падай! Не падай! Не урони себя. Ты споткнулась?.. Вставай, Баян, вста-а-а-в-а-ай!..»

Она проснулась от крика и увидела, что лежит в постели. Из гостиной доносились чьи-то тихие голоса.

Баян не знала, как объяснить этот сон. Она приняла теплый душ, но ей не стало легче. «Я должна позвонить домой», – подумала она.

Баян оделась, вышла в гостиную. Кайрат шел к ней. Он обнял ее. Она прильнула к нему.

– Ты вся дрожишь, – сказал Кайрат.

Баян промолчала. Ее глаза остановились на его лице.

– Как спала? – спросил он.

– Давно уже так хорошо не спала... – Она высвободилась из его объятий. – Мне нужно позвонить домой...

Она подошла к телефону.

– Приходил Оскен, сказал, что через час мы выезжаем.

Баян согласно кивала ему. Дома никого не оказалось. Теперь она стала звонить отцу на работу.

– Что с тобой? Ты чем-то озабочена? – спросил Кайрат.

– Мне приснился страшный сон.

– Ты веришь снам? – засмеялся Кайрат. – Разве советский журналист верит снам?

– Все мы верим, когда это касается нас...

Кайрат не ответил. Сегодня он чувствовал себя самым счастливым человеком на земле. И был спокоен. Он подошел к своей любимой и обнял ее.

– Я счастлив, – шепнул он.

– Алло!.. – Баян наконец-то соединилась с Семипалатинском и отстранила Кайрата, как бы и вовсе не замечая его ласк. – Алло! Алия!..

– Баян Ескендировна! – услышала она растерянный голос. – Мы вас повсюду ищем. Ескендир Калиевич в больнице.

– Что?.. – шепотом спросила Баян, и шепот этот остановил Оскена, входившего в номер.

– Что? – переспросила Баян.

– Обширный инфаркт, – ответила Алия. – Врачи говорят, что они ничего не гарантируют...

– Я немедленно вылетаю, – еле выговорила Баян, кладя трубку.

Кайрат и Оскен молча глядели на нее.

До посадки в самолет оставалось несколько минут. Баян и Кайрат сидели на лавочке перед зданием аэропорта.

– Может, и мне с тобой? – неуверенно сказал Кайрат.

– Нет, ты поезжай к Оскену.

– Я должен быть с тобой.

– Нет, – повторила Баян. – Ты поедешь с Оскеном, развеешься. Для него это будет счастьем.

– Он хотел повидаться с тобой напоследок.

– Только не пей. Береги себя.

Кайрат посмотрел ей в лицо, вспыхнул, хотел что-то сказать, но передумал и отвел взгляд.

– Я знаю обо всем. Так что не нужно оправдываться...

– Я и не оправдываюсь... – Кайрат закурил. – Я не оправдываюсь, но и ты меня не учи. Я не люблю, когда меня учат...

– Не любишь?

– Не люблю тех, кто меня учит. Я не знаю, имеют ли они право меня учить...

– Может, это и хорошо...

– Что хорошо?..

– Еле отыскали вас, – перебил их Оскен, внезапно появившийся перед ними.

С ним была Балзия. Она обняла Баян:

– У вас несчастье, но знайте – мы с вами. Желаем вашему отцу скорейшего выздоровления.

– Когда всё закончится, а я уверен, что всё будет хорошо, приезжай, – сказал Оскен. – И все-таки жалко!.. Не удалось побыть вместе...

– Будете в Семипалатинске, обязательно к нам заходите. – Баян повернулась к Балзие: – Вы мне понравились. Глядя на вас, я понимаю, что есть на свете хорошие люди. Спасибо вам!

Балзия, не ожидавшая такой откровенности, покраснела, но Оскен взглянул на Баян глазами, полными благодарности.

– Баян, я многое хотел тебе сказать, но не успел, – тихо промолвил Кайрат. – Не успел... Я всё больше и больше начинаю понимать – мне лишь кажется, что нет в жизни такого уголочка, которого бы я не знал. С каждым годом я всё больше убеждаюсь – трудно, почти невозможно познать до конца всю суть жизни. Не обижайся на меня. Не думай, что я ничего не вижу. Спасибо, что приехала...

– Я тоже о многом собиралась с тобой поговорить. Но и я не смогла сказать тебе ничего. Ради Аллаха, не нужно меня благодарить, Кайрат... Мне самой очень хотелось побыть с тобою...

Из окна автобуса, который вез ее к самолету, Баян заметила Кайрата, который по-прежнему стоял у забора, держась руками за железные прутья, и тоскливо глядел в ее сторону.

Балзия и Оскен помахали ей. Она попыталась ответить им.

Самолет вырулил на взлетную полосу. Издали было видно, что Кайрат до сих пор стоит у ограды.

Баян вспомнила его запавшие глаза, полные одиночества, и ей пришла в голову нелепая, жуткая мысль, что они с Кайратом могут никогда больше не встретиться. Ей хотелось все думы свои и желания посвятить отцу, но на всё у нее не хватало сил. Перед глазами стоял Кайрат, вцепившийся в железные прутья ограды, как большой осиротевший ребенок.

Часть вторая

12

Почти год прошел с того времени, как Абылай оказался здесь. Душа его, лишенная свободы, поначалу противилась неправедному приговору судьбы, обида, злоба, тоска душили его, и он не находил себе места. Но время незаметно взяло свое, и он вошел в ритм этих безликих, постылых дней, подчинился их гнету.

Так же, как и остальные осужденные исправительно-трудового учреждения, он вставал в шесть утра по сигналу «подъем», день проводил на работе в карьере, механически принимал пищу, привычно шагал в колонне, вечером ложился спать.

Ему были дороги те крохи свободы, которые достаются осужденному во время работы, когда он целиком предоставлен самому себе. За это он любил свою

работу, несмотря на то, что в карьер и обратно их вели под конвоем, что особенно сильно унижало его. И, работая, выкладывался весь: ныли мускулы, но он, стиснув зубы, трудился до изнеможения, не давая себе ни минуты отдыха. Он жаждал сильных и неукротимых движений, изнуряя себя до предела, он освобождался от тяжести, навалившейся на его мятущуюся душу.

Администрация исправительно-трудовой колонии оценила его спокойный нрав и активную работоспособность – в конце года ему даже было присвоено звание «Ударник труда и примерного поведения», но жизнь в заключении продолжала давить на него, и мысли его были далеки от покоя. Он постоянно находился в подавленном состоянии, временами, казалось, даже разучился просто, по-человечески смеяться.

В униженной и оскорбленной душе копилась злость, и чувство чести, подобно острому кинжалу, полосовало ему сердце, вызывая боль, смятение, вспышки ярости. Временами он доходил до того, что каждое чужое неуместное слово вызывало в нем раздражение и весь свет становился не мил в эти минуты, не спасала даже привычная работа. Смирный, уравновешенный, он начал меняться – в нем исподволь копилась дерзость. Он стал понимать, что тоска по свободе и вольной жизни – это особое состояние осужденного, которым тот не в силах управлять. После работы на карьере, усталый и разбитый, он, дожидаясь вместе с другими своими товарищами, когда конвой начнет строить их, садился на корточки, прислонившись спиной к шершавому, хранящему солнечное тепло валуну, и долго смотрел вдаль поверх колючей проволоки.

Желтая, тающая в знойном мареве степь, казахская степь без конца и без края, родная степь, вольно раскинувшаяся под чистым небом, – он думал о том, что на всем пространстве великой степи вершится спокойная и размеренная жизнь: там и тут мелькают сытые, проворные суслики, слышен стрекот кузнечиков, взлетают и с шумом садятся стайки беспокойных воробьев, и эта жизнь степи, с ее неизменным многовековым укладом, со множеством звуков, красок, линий, назойливо напоминала ему, что нет ничего в мире дороже и значительней, чем пространство, время, свобода. И странно – временами ему казалось, что он знает эту степь с детства, что он давным-давно сроднился с нею, никогда не ведая другой жизни, жизни шумных городских кварталов, школы, института, вечерних прогулок по берегу Иртыша.

Совсем недавно ему разрешили свидание – в колонию неожиданно приехал Мерген, внук старика Сабыра, жырау-певца старинных легенд, за которого Абылай вступился тем вечером. И, лишь увидев Мергена, вспомнив Сабыра, Абылай наконец-то понял, почему ему кажутся родными эти желтые безбрежные степные пространства, эти краски, запахи и звуки: колония располагалась в восьмидесяти километрах от того аула, где жили Сабыр и его внук и где он впервые услышал чудные звуки домбры аксакала, где находилось то самое озеро, в котором весело плескались тогда Омар-ага, Володя, Мерген и он, Абылай, где сиротливо стоит памятник Омару из белого мрамора, который поставили благодарные односельчане Сабыра, о чем старик толковал Абылаю, перед тем как всё это случилось... Это страшное, этот бред, ставший реальностью.

– Ата в последнее время часто хворает, он не смог приехать, – сказал Мерген сразу же после того, как они встретились.

– А ты как узнал, что я здесь?

– Я недавно был у вас в Семипалатинске.

Они помолчали. Абылаю хотелось расспросить его обо всем и обо всех: о родном городе, об отце, Баян, Сауле, но он переборол себя, не желая выказывать свою слабость. «Тем более что откуда этому парню знать про Сауле, он и имени-то ее не слышал», – мельком подумал он, разглядывая Мергена, который еще в детстве был крупным, крепко сбитым, а теперь и вовсе стал батыром: плечи его

раздались, обветренное, прокаленное степным солнцем лицо говорило о сильном духе и порывистом, рисковом характере, в глазах, которые прямо смотрели на собеседника, читались и доброта, и правдивость, выпуклая грудь, мощная спина выдавали его недюжинную силу.

– Глупо всё получилось, – сказал Мерген. – Ни я, ни дедушка не можем понять, как всё произошло. Мы не верим, что ты виновен.

Каждое слово он выговаривал спокойно, тщательно доводя до собеседника смысл сказанного, и Абылай подумал о том, что широкая, вольная степь щедро поделилась своим богатством с этим степным джигитом, ее сыном.

– Ладно, хватит, – сказал Абылай. – Ты лучше о себе расскажи. Я вижу, ты изменился, возмужал. Как это говорится? Заматерел, что ли...

– Да? – удивился Мерген. – Ты действительно так думаешь? А мне иногда кажется, что я все еще ребенок. Дедушка меня всё ругает, ты, говорит, отец семейства, а иной раз ведешь себя как пацан... – Мерген громко рассмеялся и вдруг спросил тихо: – Сколько тебе еще осталось?..

– Полгода, – ответил Абылай и поглядел через узкое окошко комнаты для свиданий на двор колонии.

Осужденные, все в темной одинаковой одежде, в одинаковых кирзовых сапогах, одинаково стриженные, выходили из столовой и строились. Увидев строй осужденных, Абылай вспомнил, как ему пришлось поработать кулаками в первый день пребывания в колонии, чтобы добыть себе право на уважение и независимость, чтобы никто больше не осмеливался подступать к нему или давить на него.

Он добился своего, и буйная публика общежития оставила его в покое. Только длинный, черноглазый и густобровый Кобыланды Юрченко, по кличке Кобра, нет-нет да и поглядывал на него своим острым воровским взглядом. В самый первый день, лишь только Абылай прибыл сюда, двое или трое юрких парней обошли сидящих за столом во время обеда и молча забрали у всех, включая Абылая, сахар, сложив его в кучку перед густобровым парнем. Абылай удивленно посмотрел по сторонам, но другие обедающие смущенно прятали глаза и привычно помалкивали. Тогда Абылай не спеша поднялся, обошел стол и, подойдя к густобровому, протянул руку к сахарной горстке. Все замерли, напряженно глядя на них. Кобра, а это был он, вдруг ощерился, вскочил и больно ударил Абылая ложкой по тыльной стороне протянутой ладони. Однако он тут же рухнул на пол – Абылай одним точным движением ударил его кулаком в подбородок, и здоровенное тело Кобыланды Юрченко обмякло, он конвульсивно зацепил рукой миску и сполз на пол. Его дружки, четверо или пятеро парней, бросились на Абылая, но тут же оказались там же, где и их главарь. Теперь к Абылаю лезли другие, с другого конца длинного стола. Истерично матерясь, они, казалось, были готовы на всё. Но тут распахнулась дверь, и в столовую вошел начальник отряда старший лейтенант Каримов, рослый офицер.

«А ну прекратить!» – осадил он всех.

Осужденные вернулись на свои места. Кобыланды Юрченко как ни в чем не бывало поднялся с пола и, укоризненно покачав головой, сел за стол. Каримов еще немного постоял, сердито глядя на них, после чего быстро вышел из столовой. Воцарилась тишина. Курчавый парень, сидящий напротив Абылая, подмигнул ему, явно одобряя его поступок. Абылай горстями раздал сахар тем, у кого его отобрали. Юрченко, прищурившись, смотрел на это, но не вмешивался, так же, как и его «кореши».

После обеда Каримов вызвал Абылая к себе.

«Ты вот что, ты эти штучки кончай, – сказал он. – На первый раз прощаю, но если будешь драться, получишь взыскание. Понял?»

«Понял. Но я их не трогал. Они сами полезли ко мне».

«Я запрещаю тебе давать волю рукам...»

«А им почему не запрещаете?» – спросил Абылай.

«И им запрещаю. Драться никому не позволю. Ты понял?» – переспросил Каримов, нахмурившись.

«Я-то понял, гражданин начальник, но вот вы нас не хотите понимать, – верный своей привычке говорить правду в глаза, ответил Абылай. – Разве дело, что эти ребята так себя ведут?»

«Это дело временное. Придется еще полгодика вам потерпеть. Видишь, новый блок строим...»

«Лучше б на что-нибудь полезное эти деньги потратили», – не удержался Абылай.

«Пока такие, как ты, нарушают закон, это разве возможно?» – побагровев, перебил его Каримов, и Абылай замолчал. Наказывать его Каримов не стал, но с того памятного случая отношения между ними были безнадежно испорчены. Чем больше наседал Каримов, тем дальше отдалялся от него Абылай, не желая открываться перед начальником отряда, всё больше и больше замыкаясь в себе. В тот день у него нашлись друзья и союзники. Курчавый парень подошел к нему перед отбоем и заговорил шепотом: «Сегодня ночью тебе хотят “поломать рога”, так что будь начеку. Мы с тобой...» – сказав это, он мгновенно исчез, и в ту же ночь действительно произошла драка. Дрались молча, до изнеможения. Вдруг дневальный крикнул «атас», и, пока отряд контролеров поднимался на второй этаж, дерущиеся успели занять свои койки. И хотя наутро все они были в синяках и кровоподтеках, администрация так и не смогла выяснить, что случилось, – об этом молчала компания Юрченко, ничего не сообщал начальству и Абылай. Неизвестно, какие планы строил на его счет Кобра, но факт остается фактом – с того дня к сахару Абылая никто не притрагивался...

– Страшно здесь, наверное? – Мерген повернулся к Абылаю. – Отъявленные, видать, здесь ребята сидят?

– Всякие есть, всего хватает, – сказал Абылай, кривя губы в чуть заметной усмешке.

– Баян-апай собирается приехать к тому дню, когда закончится твой срок. Заедете к нам, вместе сходим на могилу Омар-ага. Договорились?

– Да, – кивнул Абылай. – Обязательно сходим.

Они помолчали.

– Хочу в институт поступить, на заочное отделение, – сказал Мерген. – Как ты на это смотришь?

– Хорошее дело. Если поступишь, напиши мне. Я буду радоваться вместе с тобой, – отозвался Абылай.

Мерген, заметив улыбку на его лице, сказал:

– Вот таким ты мне больше нравишься. Что толку хмуриться?.. – и сам усмехнулся.

– О чем ни толкуй, от главного не уйдешь, – вырвалось у Абылая. – А главное для меня, о чем я думаю день и ночь, – поскорей бы выбраться отсюда. Избавиться от этого, забыть, как дурной сон. Больше я ничего не хочу.

Мерген задумчиво вгляделся в лицо своего давнего приятеля. Ему было жалко Абылая, он мучился от бессилия, что ничем не может ему помочь.

– Я буду навещать тебя, – сказал Мерген. – Расстояние между нашими аулами не такое уж большое.

«Между аулами?» – Абылаю показалось забавным, что Мерген так тщательно подбирает слова, избегая называть вещи своими именами: колонию – колонией, зону – зоной. Он снова улыбнулся и сказал:

– Ты сейчас очень похож на дедушку. Ведь Сабыр-ата часто говорит или красноречиво, или намеками, иносказаниями. Кстати, как он там? До сих пор поет свои замечательные легенды?

– Он часто болеет и теперь почти не поет. Тяжело ему петь.

– Надо записать его голос на магнитофон. Такие люди, как он, редкость. Завтра они станут историей, и некому будет научить нас нашим песням.

– Я много раз собирался это сделать, да всё недосуг – работа всё, работа.

– А помнишь его легенду «Честь»? Я ее часто вспоминаю. И слова, и мелодию. Иногда даже напеваю про себя. И всё думаю про Кушикбая. Вот человек был, да?

– Да. Это одна из любимых наших легенд... Ее и Омар-ага знал наизусть. Что-то в ней есть особенное, в этой легенде. Стоит ее раз услышать, навечно в память врезается...

...После того, как свидание закончилось и Мерген уехал, Абылай почувствовал себя более одиноким. На душе было тоскливо и пусто. Ему вдруг показалось, что он уже очень давно, тысячу лет, не получал писем ни от Сауле, ни от родных. «Только в неволе, – думал он, – можно познать эту ни с чем не сравнимую радость – когда ты видишь клочок белой бумаги, весть из того, другого, недоступного тебе мира...»

После ужина он, примостившись в уголке, решил написать отцу и Сауле. Ему хотелось разорвать этот заколдованный круг одиночества, хотелось поделиться своей печалью с самыми близкими людьми, чтобы избыть свою тоску и муку. Но эта безрадостная, монотонная, неуютная жизнь как будто лишила его разума и дара слова: мысли расплывались, фразы не складывались в целое, и всё это было не то, не то, какие-то клочки, обрывки реальности. Особенно трудно было писать Сауле. Что сказать ей, нежной его подруге, об этой жизни, которая отличается от прежней, как небо от земли... или, вернее, как земля от неба. С трудом вымучив из себя две первые строчки, он понял, что снова оказался в тупике, и страданиям его не будет конца.

Перед ним, будто наяву, вновь появилась она. Вот она улыбается, запрокинув голову так, что отчетливо блестит белая полоска зубов, вот распустила свою длинную косу, и ее черные как смоль волосы закрыли ей плечи... Милая, никогда ее не забыть!

Каждый раз, когда перед его мысленным взором вставал ее бесконечно дорогой образ, он до боли стискивал зубы, с ужасом сознавая, в какую яму толкнула его судьба. И это его стремление обратно, к ней, не было простым зовом горячей юношеской крови, хотя, вспоминая Сауле, он заново переживал самые сладостные минуты своей прежней жизни, отчего сердце его вновь наполнялось любовью и нежностью. Это видение вновь давало ему силы надеяться, скрашивало его нынешнее безликое существование, вселяло уверенность, утверждало, что самая большая радость, то единственно ценное, чем он теперь владеет, – это она, его возлюбленная, оставшаяся так далеко... Мучаясь бессонницей в душной секции общежития, ворочаясь в постели, он повторял про себя эти простые нежные слова: «Душа, душа моя, единственная, любимая». И если бы не Сауле, он бы не вынес своего нынешнего положения, но он вдруг поверил, что выстоит, что у него хватит сил выстоять, что он не пожалеет ничего ради этого образа, мерцающего перед ним, как призрак воды в бескрайней пустыне.

Мираж стоял в воздухе, как и мелодия древнего кюя, которая вдруг неслышно зазвучала в неведомой вышине, рассказывая о легендарных батырах и мужественной матери Кушикбая, о плачущем караване и людях, уходящих в поисках счастья от насиженных мест.

И слова для Сауле пришли сами. Щеки Абылая порозовели, смуглое лицо стало почти вдохновенным. Наконец-то он смог написать ей! Скромному листку бумаги, который получит его любимая, он доверял все свои желания, все свои мысли и мечты о любви, о счастье их будущей жизни. В этих словах звенела надежда и преодоленное одиночество...

...Абылай долго смотрел перед собой, потом, дописав последнее слово, поставил точку. Но когда он заклеивал конверт и надписывал адрес, в его ушах всё звучала и звучала эта музыка, музыка древнего кюя, музыка скорби и надежды. Смысл легенды вдруг по-новому раскрылся ему лишь здесь, в неволе, в заключении. Он понял – мир богат и разнообразен, но нет в мире ничего дороже человеческой чести.

...Тобет велел привести пленников к себе. В глазах у джунгаров стоял страх, и лица их, посеревшие и обескровленные, выражали готовность к самому худшему.

Да будет проклята жизнь табунщика! Ведь лошади – главное богатство в степи, и вся вражда между джунгарами и казахами из-за того, что они то и дело угоняют друг у друга табуны. А другого добра, считай, и нет у них – ну разве что юрты да домашний скарб, который легко можно навьючить меж двух верблюжьих горбов. Непонятная, суматошная жизнь – ведь табунщик первым лишается своей головы при набеге. А за что? «Садитесь», – приказал джунгарам воин, который привел их, и они опустились на колени.

Людской гомон затих. Молчали казахи, молчали и джунгары. И тишина зловещая, густая тишина повисла над степью. Тобет что-то шепнул на ухо своему посыльному Естаю, который неотрывно следовал за ним. Джигит подбросил в костер вязанку хвороста и мгновенно исчез в темноте. А когда вернулся, в руках у него была домбра.

«Кто-нибудь из вас умеет играть?» – Тобет повернулся к пленникам.

Один из джунгаров чуть подался вперед. «Развяжите его», – приказал Тобет.

Пленника развязали. Он зашевелил пальцами и долго тер распухшие руки. Совсем еще юный, стройный, он подошел к Тобету. «Играй», – сказал Тобет.

И снова замерла вокруг тишина. Воины и пленники даже кашлянуть боялись. Пленник долго глядел на домбру и потом, отрицательно покачав головой, сунул руку за пазуху. Тобет напрягся, но парень вытащил из-за пазухи сырнай[1] на шелковой ленте, и Тобет тут же успокоился. Пленник плавно поднес сырнай к губам и огляделся по сторонам. Был он легок, изящен, телосложение его было слишком хрупким для табунщика. Музыкант повернулся к огню, и глаза его сверкнули злостью и обидой. Казалось, что ему стало жалко нежной джунгарской мелодии, которую он сейчас будет вынужден исполнять для захватчиков-казахов. Тобет заметил всё это и выругался про себя. Сырнай издал нежный, чистый звук. И замер. И снова запел. И опять замер. Как будто музыкант, насмехаясь над слушателями, испытывал их терпение.

«Играй, тебе говорят!» – не выдержал Тобет.

И зазвучали, зазвучали средь сонной тишины чарующие звуки сырная. Уставшие от походов, измученные многочасовой верховой ездой, воины расслабились, задумались, притихли. Эта печальная, эта нежная, эта сладкая мелодия не улетала вверх, как дым от костра в безветренную ночь, а стелилась по земле, проникала во все уголки сонной, безмолвной степи. Заслышав мелодию родимых мест, пленники, стоявшие на коленях, стали поднимать головы. Они радовались тому, что среди них оказался знаменитый джунгарский музыкант Бийши. Музыка вселяла в них бодрость, и выражение достоинства вдруг появилось на их униженных измученных лицах. Девушка-джунгарка была счастлива. Ее удивляла сила музыки, и она гордилась тем, что родная мелодия так действует на этих казахов, которым и небеса не страшны. «Музыке не нужен язык, – думала она. – Музыке ничего не нужно для того, чтобы жить, и она понятна каждому, у кого есть душа и сердце. Ведь недаром говорят, что народ славен не только своими батырами и мудрецами, но и своей музыкой. И сейчас,

[1] Народный музыкальный инструмент.

в решающий момент, когда речь идет о жизни и смерти, вместо сабли батыра, вместо слов мудрого достаточно вот этой простой мелодии...»

И действительно, все, замерев, глядели на музыканта и слушали его волшебную музыку. Джигит, который должен был присматривать за пленниками, склонил голову на плечо соседа и закрыл глаза. Казалось, если бы сейчас остальные пленные джунгары встали и ушли, никто и не заметил бы их исчезновения. Лишь Тобет, злой, узкоглазый, сохраняющий суровое напряженное выражение на своем смуглом лице, не сводил с пленников взгляда. И на девушку смотрел так, точно собирался живьем проглотить ее. Но она не замечала его, в который раз изумляясь тому, что, позабыв обо всем на свете, позабыв горечь унижения и страх бесчестия, слушает музыку, с детства знакомую, но только здесь, в неволе, по-настоящему понятую. «И почему не всякий может почувствовать всю щедрость, всё величие народа, пока он с народом? Может, кто и понимает это, но не так глубоко, как тогда, когда окажется на чужбине, в нищете или безвестности. И значит ли это, что вся мудрость народа понятна только мудрецу и музыканту? Понятна всегда и везде? Неужели лишь мудрец и музыкант знают то, что не каждому дано знать, – истинный смысл того, что происходило, происходит и будет происходить... Истинный смысл вечности... А если знают, что делают, чтобы лучше жилось народу? Или, может, они смотрят далеко вперед и верят, что их поймут лишь грядущие поколения?.. Всё может быть. Но этот звук сырная, вобравший в себя и запах полыни, и мерцание звезд, и звуки ночного джайляу, – ведь этот звук способен поднять джигита даже из мертвых. Поднимет, опьянит, зачарует, и тот пожертвует всем ради такой музыки... И неужели для того, чтобы понять это, нужно, чтобы прошли столетия? Ведь и копье, и сабля сломаются, исчезнут, и мир навсегда забудет о вражде, но никогда не исчезнет музыка, как не останется забытым ни одно доброе слово мудреца...» Девушка вдруг вспомнила свое селение, веселые дни детства. Ей вновь захотелось услышать мягкую, журчащую речь джунгаров, а не этот резкий говор казахов. «Не берет мир наши народы! – сокрушался ее отец. – Вон, говорят, Анархой вновь собирает войско против казахов. Чего мы не можем поделить? Чему мы вечно завидуем? Оба наши народа гибнут от раздора. И не лучше ли нам переехать в глубь такыра, чем пропадать здесь от набегов и насилия? Что делается, что происходит на этом свете? Батыры ищут счастья в налетах и кровавой резне. Мужчины погрязли в безумных мечтах о том, чтобы увеличить свои табуны. И какой толк в том, что женщины обоих наших народов наперегонки рожают детей, если все они потом гибнут в пожарищах и набегах? И что за упрямый нрав у жизни – счастье она дает по крупицам, на пересчет, а горя и слёз отваливает полной мерой...»

«Такую мелодию мог создать лишь подлинно великий человек, – думала девушка. – Может, этой музыкой он хотел образумить воинствующих мужей наших двух народов? Сказать им, что хватит губить себя, хватит губить народ? Степь – обширна и добра, и места в ней для счастливой жизни хватит всем. Но хватит ли у него на это сил? И спасет ли кого-нибудь эта музыка? Вряд ли... Никчемна жизнь человека, который рожден не в свое время и которого не слышат соплеменники. Но может быть, и у казахов есть такой человек, и тогда настанет конец нашей вражде? Может, и там, у них, у врагов, есть такая же музыка? Или самое большее, на что хватило ума у наших народов, это придумать ножны для отдыха сабель?..»

Стонет сырнай... Поет сырнай... И звуки его исторгают сладкие слезы из груди... И молчит народ, и степь безмолвна...

Прислушиваясь к неведомым звукам музыки, придерживая рвущихся коней, Кушикбай со своими джигитами не спеша приближался к месту встречи. Он тоже был зачарован мелодией, которая далеко разносилась по сонной степи и которую он никогда раньше не слышал. Кюй говорил о народе, уставшем от

войн, и то тяжело вздыхал, как усталый мужчина, то плакал, как девушка, то рыдал, как мать, распустившая седые волосы и горюющая о своем убитом сыне... Топот копыт, скрежет металла, свист летящих стрел – всё было в этом кюе... Перед глазами Кушикбая вдруг встал Анархой, падающий с обрыва, не успев вымолвить слова, и он впервые не испытал знакомой радости от своей победы.

Вдруг мелодия кюя зазвенела нежно и мягко, как горный ручеек, и Кушикбай вспомнил детство, беззаботное детство, когда он гонялся по степи за зайцами на своем первом коне. «Вот кого мне не хватает сейчас, – подумал он. – Музыканта Арыстана. Вместе с ним мы могли бы наслаждаться сейчас этой мелодией, и он понял бы ее лучше, чем я. Ведь он и взаправду великий певец степи...»

...Они с детства были друзьями, батыр Кушикбай и музыкант Арыстан. И когда он, Кушикбай, впервые взял в руки копье, его товарищ впервые взял в руки домбру. У одного в ушах звенели стрелы, у другого – музыка. Когда Кушикбай, потуже затянув подпругу своего коня, возвратился из первого боя с джунгарами, Арыстан сочинил первый свой кюй и получил благословение у лучшего музыканта аргынов.

И они любили друг друга. Кушикбай обожал музыку Арыстана, а тот восхищался его храбростью и выносливостью. Да и как было не любить музыку Арыстана. Ведь даже рыжий аргамак Кушикбая, почуяв звуки домбры, нетерпеливо рвался в аул. «Плохая примета! Скачешь сломя голову, – сердилась Айганым, мать Кушикбая. – Это к беде...» – «Больше не буду, прости меня, мать...» – улыбался Кушикбай и, спешившись, шел к Арыстану. «А, прибыл, счастливец батыр!» Арыстан настраивал домбру, готовясь ударить в струны, и рыжий пятилеток, хоть и разнуздывал его Кушикбай, не отходил далеко от юрты и, косясь, прислушивался к звукам домбры... «Тоже хочешь кюй послушать...» – ласкал его Кушикбай, почесывая за ухом.

Стонет сырнай... Поет сырнай... Многое вспомнилось батыру...

Тобет закрыл глаза и снова открыл их. Кивнул в сторону девушки:

«Эй, красавица, танцуй!..»

Девушка не поняла, что сказал сердитый батыр, и недоуменно заморгала, глядя на него. «Танцуй», – повторил он.

Теперь она поняла смысл его приказа и встала. Воин, присматривавший за пленниками, то и дело подталкивая ее в спину, вывел девушку в центр сразу же образовавшегося круга.

Но замерли звуки сырная, и музыкант смотрел в землю, и растерялись воины, только что кричавшие: «Танцуй, танцуй!» Тобет нахмурился, и тут музыкант вновь поднес сырнай к губам.

Но это была уже совсем другая мелодия – грозная, воинственная, мужественная, мелодия, с которой никогда не расстается народ-воин.

«Нам не ждать милостей от наших врагов, – пел сырнай. – И пусть это будет последняя мелодия, которую мы унесем с собой в могилу. Они заставляют тебя танцевать. Танцуй, танцуй, сестренка! Танцуй так, чтобы лопнули их бесстыжие глаза! И держи выше голову, сестренка! Нас поставили на колени, но мы умрем с поднятой головой. Танцуй, танцуй, солнышко!..»

Джунгар Бийши отдал этой музыке всего себя. Нежной и чистой, как первый луч солнца, была его прежняя мелодия, а эта – ярилась, клокотала, угрожала.

И девушка стала танцевать. Вихрем закружилась она по поляне. Чуть поднявшийся подол платья обнажил ее прямые белые ноги.

«Уа!» – вскричали восхищенные воины и замерли.

«Вот это красавица!» «Хороша, а?» «Уа...»

А она и впрямь была хороша. Глаза ее лучились в отблесках костра, лицо раскраснелось, гибкое тело полностью подчинялось стихии танца.

Тобет жадно шарил глазами по прекрасному телу девушки. Чуть вздрагивают от быстрого движения ее полные груди, алые губы, неистощимый родник блаженства, приоткрыты... Талия... О, эту талию батыр может обхватить одной ладонью! Припасть бы воспаленными губами к ее белоснежной шее! «Не спеши, не спеши, сначала ее нужно опозорить перед воинами и пленниками джунгарами, а овладеть ею ты всегда успеешь», – уговаривал себя Тобет.

Никто не заметил, как у бивака появился Кушикбай со своими верными джигитами. Упоенные музыкой, они старались ехать как можно тише, чтобы не помешать музыканту и от души насладиться звуками кюя.

Кушикбай немало удивился, разглядев в красных сполохах огня танцующую у костра девушку. Движения ее были быстры и свободны, а огромные глаза полнились то ли страхом, то ли злостью, но всё равно они были прекрасны, эти глаза.

И сердце его вздрогнуло. Кушикбай никогда еще так прямо не смотрел на женщину. Во время праздников, одерживая победу над борцами и перешагивая через них, он, случалось, ловил взгляды женщин и девушек, жадно устремленные на крепкого, мускулистого батыра, но не придавал этому ровно никакого значения. А теперь... Теперь впервые вздрогнуло его сердце... Лишь теперь, когда он увидел пленную джунгарку... «Сними желетке[2]», – сказал Тобет. Девушка сняла.

«А теперь платье сбрасывай...»

Сырнай умолк. Казахи загалдели, одобряя жестокую забаву главного батыра. Зато джунгары уткнулись в землю, не желая быть свидетелями позора своей соплеменницы. Танец кончился. «Словно стаю лебедей вспугнули с ровной поверхности озера», – подумал Кушикбай, сжимая в руке камчу.

А воинам не терпелось взглянуть на ослепительное девичье тело. «Снимай! Снимай!» – кричали они.

Музыкант поднял руку, чтобы выкинуть сырнай, но воин, зорко следивший за каждым его движением, взмахнул плеткой, и сырнай со звоном ударился о камень. Воин приставил к горлу Бийши саблю, и по груди музыканта заструилась кровь. Он поднял с земли свой инструмент, и вновь полилась из сырная горькая печальная мелодия.

«Срубить бы одним махом все эти джунгарские головы, а девку утащить в чащу, – злорадно подумал Тобет и снова одернул себя: – Нет. Всему свое время. А пока надо еще позабавиться...»

Не в силах сдержать волнения, он поднялся и снова сел.

«Снимай, кому говорят!» – рявкнул Тобет.

Девушка не шелохнулась. Она стояла, прямо глядя в лицо Тобету, и глаза ее горели ненавистью. «Не сниму. Делай со мной что хочешь. Но сама я не унижусь и никогда не покажу свое тело казаху!» – казалось, говорили ее глаза.

Тобет что-то шепнул на ухо посыльному Естаю, и тот, чеканя каждый свой шаг, подошел к девушке с острым, как бритва, кинжалом.

Кушикбая душил гнев. Разве можно так издеваться над беззащитными? Он ударил каблуками своего рыжего коня. Воины, сидевшие на земле, шарахнулись в стороны и схватились за оружие.

«Дат!.. Дат!..» – услышали они сильный голос и успокоились, узнав Кушикбая.

«Кушикбай вернулся! Кушикбай!» – радостно зашумели они.

Тем временем посыльный Естай распорол кинжалом верх платья джунгарки и, не зная, что делать дальше, остановился в смятении. Девушка стала лихорадочно стягивать лохмотья, прикрывая обнажившуюся грудь. Пленники стонали от унижения.

---

[2] Нарядная безрукавка.

Кушикбай спешился и вышел на середину. Густые брови его были нахмурены, взгляд был мрачен. Девушка отпрянула, ожидая от его появления лишь новых бед.

«Дат, Тобет-ага!..» – сказал Кушикбай.

«Я слушаю тебя, батыр», – сказал Тобет.

«Прошу тебя – подари мне жизнь этих людей. Верни их на родину».

Воины удивленно переглянулись, не веря услышанному, а лицо Тобета почернело от гнева.

«Батыр, – сказал он. – Ты ведь знаешь, за что я мщу джунгарам. На их совести кровь моего брата Естыбека».

«Естыбека убила не эта девушка. – Кушикбай повернулся к джунгарке. – И не эти несчастные», – указал он на коленопреклоненных пленных.

«Только выбрался из колыбели, а уже меня хочешь уму-разуму учить? Запомни, умные слишком рано лысеют. И тот, кого когда-то называли батыром, рискует вскоре получить прозвище плешивого», – расхохотался Тобет.

И воины засмеялись, но тут же умолкли, глядя на решительное лицо Кушикбая. Лишь молодой Естай всё никак не мог справиться со смехом – до того ему понравилась шутка главного батыра. Он прикрывал рот обеими руками и прятался за спину Тобета.

«Эй, ага, попридержи язык! – рассердился Кушикбай. – Разве ты выживший из ума старик, что науськивает друг на друга людей, которые и без того бедствуют? Нет, ты батыр, а это значит, что ты должен говорить слова, достойные воина, а не марать свой язык бабьими шутками. Мы возвращаемся с богатой добычей, так будь же великодушен – освободи девушку и верни домой табунщиков. Хватит понапрасну лить людскую кровь!»

«Эй, Кушикбай, да где это видано, чтобы я за кровь Естыбека отомстил врагам лишь угнанными табунами? Разве предки завещали нам такое? Кровь может быть отомщена только кровью! Ты знаешь старый могильник? На северной стороне его я завтра повешу табунщиков, пускай джунгары любуются. А с красоткой позабавлюсь этой ночью, потом посажу ее, голозадую, на коня и отправлю к отцу, матери, будущему, ха-ха-ха, мужу – куда ей будет угодно!.. Понял?! – Тобет вскочил. – Ты забыл, что, пока существуют джунгарские ворота, не будет покоя нашему народу?»

«Тому виной не ворота, батыр, а то, что кровь множит кровь...»

«Это джунгары, джунгары во всем виноваты, брат», – смягчился Тобет.

«Нет, батыр, и наша в том есть вина. И ты, и я, и все они... – Кушикбай показал на притихших воинов. – Разве мало мы погубили невинных, разве мало угнали чужих лошадей?»

«Эй, Кушикбай, уж не святым ли ты решил стать? – снова рассердился Тобет. – Ничего у тебя не получится! И если ты хочешь увидеть грешника, ткни пальцем в любого из живущих под этим небом. Не промахнешься. Все мы грешники. Человек – хищник по природе своей, а ты видел когда-нибудь безгрешного хищника?.. Вот ты просишь, чтобы я вернул домой джунгарскую красавицу и этих шакалов. А ты уверен в том, что родившийся от нее джунгар не повернет коня в твою сторону и не разорит казахов? Ты уверен в том, что эти табунщики завтра же не нападут на твой аул, не опозорят твою сестру? Ты уверен в этом? Ты веришь в это?»

«Не о вере, а о подозрениях ты говоришь, батыр. И проповедуешь не человеческое, а животное. Разве ты забыл, что раньше сыны степей устраивали поединки не ради забавы или жестокости, а в знак уважения друг к другу. Битва была знаком мужества, чести. И не путай свою личную обиду с честью народа. Пойми это и освободи невинных, батыр!..»

Кушикбай остановился, чтобы перевести дыхание. Воины, внимательно слушавшие его, гадали, чем закончится этот ожесточенный спор.

«Построй крепостную стену перед джунгарскими воротами, всё равно не будет проку, – продолжал Кушикбай. – Не будет потому, что люди должны сердцами понять друг друга. Построившие крепостную стену могут и разрушить ее. Но, может, пора прекратить лить кровь и строить стены? Я думаю, что лучшие сыны народа способны понять это. Я думаю, ты понимаешь меня, батыр!»

«А я думал, ты скажешь что-нибудь дельное, скажешь что-нибудь в защиту своего народа. Но ты снова тянешь куда-то вбок, парень, – зло рассмеялся Тобет. – Запомни: я главный батыр и это мое войско. Мое слово – закон для войска. Прикажу спалить – спалят, прикажу рубить – порубят. И еще запомни, Кушикбай, – угрожающе добавил он. – Жизнь батыра подобна танцу на лезвии ножа. Стоит батыру чуть-чуть оступиться, и он будет рассечен надвое!..»

«Чем больше обманщиков, тем хуже для людей, чем больше лжепророков, тем быстрее гибнет народ. И если глупый батыр возглавит народ, люди станут подобны зверям, а сердце зверя – это не сердце человека. И если тебя больно хлестнул кнут джунгара, то помни, что у него на голове шишка от твоей палицы. И кто на кого должен обижаться тогда? Он убил, и ты убивай? Он сошел с божьего пути, и ты превращайся в зверя? Неужели мы так и будем купаться в лужах крови?»

Тобет молчал.

«И еще я скажу тебе, батыр. Если ты ищешь кровной мести, то кровь твоего брата Естыбека на совести джунгарского батыра Анархоя. А его я вчера убил и омыл твою месть кровью, которой ты так жаждешь. Но я убил его в честном поединке, и я прошу тебя и говорю воинам – эй, батыры, давайте не будем брать на душу смерть и этих ни в чем не повинных людей. Освободи их, Тобет батыр».

Кушикбай склонил голову в знак того, что сказал свое последнее слово.

И дрогнули сердца у пленников, и в душах их вновь затеплилась надежда на спасение. Девушка тоже поняла, что этот широкоплечий красавец просит подарить им жизнь, и стала жарко молиться. «О небеса! – шептала она. – Если уж мне суждено быть опозоренной, то пускай лучше меня опозорит этот парень, чем тот злой, черный казах с мышиными глазками. А большего блага я и не желаю...»

«Нет силы, способной унять голос крови, как нет силы, которая может усмирить народ, который с ранней зари точит свой кинжал, – размышлял Тобет. – И нет в этой жизни ничего вернее и надежнее стрелы, копья и острия кинжала. А Кушикбай рассуждает точно так же, как те умники, которые, выдавая себя за великих, с утра до ночи бренчат на домбрах или с важным видом изрекают глупости. Нет уж! Как было, так и будет! Голову за голову – так завещали нам предки!..»

«Помолчи! – холодно ответил он Кушикбаю. – Пока я жив, я сам пролью кровь за пролитую кровь моего брата. Это мое слово и мое право. И не проси больше за этих джунгарских собак».

«Но ты не прольешь крови безвинных и безоружных, – звонко сказал Кушикбай. – И я прошу тебя об этом. Как младший, я унижаюсь перед тобой. Разве ты не понимаешь, что вина одного глупого батыра может обойтись в сотню голов его народу? Батыр может ошибиться, но народ никогда не ошибается. Разве не так?»

«Эй, Кушикбай, я прощу тебя, даже если ты схватишь за бороду старца. Но не смей становиться на моем пути. И сейчас, и до самого конца своей жизни. Приди в себя – это мой последний совет тебе».

«Батыр, освободи пленных», – упрямо повторил Кушикбай, и Тобет тут же схватился за саблю. Терпение его кончилось.

«Эй, глупый мальчишка, ты знаешь, что сабля, вынутая из ножен, не может вернуться обратно, не испачкавшись в чужой крови?»

«Пусть будет так, батыр! Поединок, Тобет!»

«Поединок, Кушикбай!.. И молись, молись, мальчик, пока не поздно!..»

В изумлении глядели на них воины, не ожидавшие от бесстрашного Кушикбая такого напора, и не нашлось ни одного человека, который решился бы встать между двумя батырами. И пленные были удивлены – такого еще никогда не было, чтобы двое казахов дрались из-за джунгаров. У девушки сжалось сердце – неужели их нежданный защитник будет убит в поединке?

Тридцать джигитов Кушикбая, вышедшие вперед, растолкав толпу, мрачно стояли, наблюдая за поединком и не давая никому больше вмешиваться в него. А поединок уже был в разгаре. С треском и хрустом, высекая синие искры, сошлись сабельные клинки, и казалось, что исход боя предрешен: ведь до сих пор никто еще не мог превзойти Тобета в сабельном сражении, и не случайно он схватился именно за саблю, а не за копье или кинжал.

Дерущиеся батыры затоптали костер, и поединок продолжался лишь при слабом молочном свете луны. Тобет теснил Кушикбая. Вот они на мгновение замерли лицом к лицу, и сабли вновь скрестились над их головами. Ни один из них не мог сдвинуться с места без риска получить смертельный удар. Дрожали колени. Затекли от нечеловеческого напряжения руки, и Тобет, не выдержав, подпрыгнул, отскочил от соперника и снова ринулся в бой.

И в это время молодой батыр сумел выбить саблю из его рук. Сабля вонзилась в дымящееся кострови́ще...

Тишина. Сабля торчала из земли, слегка подрагивая. Тобет было бросился за ней, но ему прямо в горло уперлось острие клинка. Тобет опустился на колени. Налитые кровью глаза его смотрели на Кушикбая, излучая ненависть и злобу, готовые испепелить удачливого соперника.

Пленники обрадовались. Джигит, который защищал их, жив, и это значит, что теперь будут живы и они. Музыкант провел рукой по горлу, где клинком Естая была содрана кожа. Девушка опустила глаза, боясь разрыдаться.

«Тобет-ага, – медленно сказал Кушикбай. – Вставай, я прощаю тебе твои слова. Возьми свою саблю. Я знаю, что тебя губит тоска по убитому брату. А вы, – он обратился к воинам, – дайте пленникам коней. Абзал, возьми с собой пятерых джигитов и проводи их. Таков мой приказ!»

Воины, раскрыв рты, слушали Кушикбая. Это надо же – не успеешь глазом моргнуть, как у тебя уже появился новый главный батыр!

Оскорбленный Тобет достал из золы свою саблю, нехотя вложил ее в ножны.

Кушикбай легко поднял девушку и посадил на коня. Лучистые темные глаза ее смеялись, на лице была написана откровенная радость. Она действительно была очень хороша собой. Кушикбай подумал: «О Аллах! Неужели и ее погубит наша вражда? Неужели прав Тобет, утверждая, что когда-нибудь и она родит нашего убийцу?» И еще он подумал: «А может, это и есть счастье – окунуться в бездонные глаза ее и сжимать в объятиях ее горячее тело, пока ладони не обожжешь? Не лучше ли взять в жены такую красавицу, мирно жить своим домашним очагом, а не рыскать по степи в поисках врага? Какие глаза! Какая девушка! Никогда больше не увижу я этих черных глаз, прощай, черноглазая джунгарка. Неповторимый образ твой, незабвенный твой образ останется в моем сердце. Мы никогда больше не встретимся в этой жизни, и если тебе суждено родить, то роди сына, который будет творить добро. Научи его добру! И – прощай, прощай, прощай!»

А девушка подумала: «Какие сильные руки у этого джигита. Какой он добрый, какой красивый, какой он храбрый!» И еще она подумала: «А если бы он предложил мне остаться у него, согласилась бы я или нет? Кто знает... Его называют Кушикбаем. Да, Кушикбаем... Прощай, Кушикбай, прощай, казахский батыр, не рожденный джунгаром. Я не забуду тебя. Узнаешь ли ты когда-нибудь,

что еще одна женщина на земле, кроме твоей матери, будет носить твое имя в своем сердце до самой смерти? Прощай, прощай, прощай...»

Глаза их встретились. Девушка сняла со среднего пальца бирюзовый перстень и вложила его в широкую ладонь батыра. И посмотрела на него в последний раз.

«Меня зовут Назгуль, батыр. Спасибо тебе за твою доброту...»

Кушикбай кивнул. Запекшиеся губы его растянулись в счастливой улыбке.

Долго глядел он вслед пленникам, уходящим с первыми лучами утренней зари. И девушка то и дело оглядывалась. Она думала о скудной и немилосердной людской судьбе. Джигит подарил ей жизнь и стал для нее самым дорогим человеком на земле. Лишь по воле судьбы она осталась жить, но какая радость ждет ее в дальнейшей жизни, если судьба, вернув ей жизнь, тут же разлучает ее с батыром, который так ей полюбился? Что ждет ее дома? Нареченный, которого она никогда не видела, воинственный Джангар, который вряд ли простит ей, что она побывала в плену? Сородичи, которые никогда не поймут, почему больше нет в ее сердце злобы к народу казахов?.. Так не лучше ли повернуть коня и, бросившись в ноги Кушикбая, признаться ему во всем, сказать, что она согласна быть даже рабыней жены его, лишь бы остаться с ним...

Она даже приостановила коня, но на большее ее не хватило. «Кушикбай! Ку-у-ши-ик-ба-ай!» – шептала она, заливаясь слезами.

Кушикбай видел издали, как девушка плачет, зарывшись лицом в конскую гриву, но не тронулся с места, думая, что слёзы ее – это слёзы радости, слёзы свободы, слёзы счастья. А ведь и ему, и ему так хотелось догнать ее, посадить к себе в седло и вернуться с ней в родной аул, сделав красавицу джунгарку своей женой! И ему, и ему не хотелось расставаться, не хотелось терять свою любовь, едва обретя ее...

Но он впервые не доверился зову своего сердца, и рыжий пятилеток впервые не понял мыслей хозяина, ибо слишком глубоко пустила свои корни вражда между двумя воюющими народами...

...Войско двигалось к родному аулу. Рыжий аргамак шел пританцовывая под Кушикбаем, как будто бы раньше хозяина почувствовал шум Камышового озера, запах родных мест.

Кушикбай снова повернулся, но пленники, и вместе с ними джунгарская девушка, уже окончательно скрылись из виду. Он тяжело вздохнул и посмотрел на Тобета. Побежденный батыр ехал в одиночестве. Копье свободно лежало перед ним, плечи опустились. И Кушикбаю невольно стало жаль Тобета – ведь не раз этот храбрый воин возвращался из набегов с горящими от удали глазами и радостным криком: «Победа! Победа!» А теперь он низложен, и сердце его кровоточит от стыда и обиды... Но что делать, когда жизнь такова, и все в этой степи, от зверя до человека, подчиняются только одному – силе! Силе, покоряющей всё и вся, силе, двигающей народы, силе, заставляющей стоять на коленях и храброго и трусливого...

Давным-давно, в свои молодые годы, Тобет победил в честном поединке знаменитого Жортыгул-батыра и удостоился звания главного воина уаков. Но изменчиво время, коварна судьба – на его пути встал Кушикбай, и он спасовал перед ним. Изменчиво время... Коварна судьба...

«Век тщеславного короток», – говорят казахи, и это правда. «У гордеца слепая душа», – говорят казахи, и это правда. Время, время, время... Судьба, судьба, судьба... Всему свое время, каждому – своя судьба...

Погасли звезды, и заалел восток. Восходящее солнце осветило свежую могилу Кушикбая с потемневшей от утренней росы землей и то пустынное пространство, где еще совсем недавно стоял аул уаков.

Тихо в долине. Осиротела долина. Не слышно больше детского плача, конского ржания, пенья, перебранки, топота копыт, не курится больше дымок над

юртами, возвещающий начало нового дня, да и самих юрт больше нет. Всё кончилось. Нет больше жизни в долине.

И еще не раз вспомнят об этом ауле люди, когда будут слушать знаменитый кюй, который сложит для них музыкант Арыстан, горестную песню о жизни, любви и смерти, и поймут люди, что они плачут о хорошем человеке лишь тогда, когда его уже нет среди живых. А пока он жив, ходит по земле – не способны воздать ему по заслугам. И думают о нем, и гордятся им, и любят его, но он уже никогда не узнает об этом! Так неужели нужно погибнуть, чтобы люди поверили тебе? И не лучше ли ценить человека, пока еще жив человек?

У могилы хозяина стоял, тревожно выгнув шею, рыжий пятилеток Кушикбая, свидетель недавней безмятежной и счастливой жизни аула. Ночью он сбежал из кочевья и возвратился на то место, где стоял аул и где был зарыт в землю его хозяин. Перед этим он искал своего повелителя по всему кочевью и нигде, нигде не мог встретить его. Мать Кушикбая Айганым не заметила исчезновения аргамака.

Рыжий спустился к озеру и понюхал воду. Потом поднял голову и снова посмотрел на пригорок, чутко поведя ноздрями. Он еще помнил, как приходил по утрам к юрте хозяина и тот хлопал его по спине, ласково чесал за ухом, он ждал, что вот-вот дрогнет коричневая земля могилы, и хозяин, встав во весь рост, снова позовет его к себе. Но тихо в долине. Тихо. Рыжий, тоскливо опустив голову, снова побрел к могиле.

После того как Кушикбай победил Тобета и стал главным батыром уаков, имя его стало известно всему Чингистау. Даже джунгары, признавшие, что он убил их предводителя Анархоя в честном поединке, с восхищением рассказывали о силе и ловкости молодого воина. Не забыли они и того, что он отпустил пленных, и когда какие-нибудь горячие головы призывали к новым набегам на казахов, среди воинов всегда находился человек, который напоминал своим собратьям о милосердии батыра Кушикбая и о мощи его войска, так что вражда между джунгарами и казахами стала понемногу затихать, по крайней мере в тот год, когда главным батыром был Кушикбай.

Одним из его сородичей нравилось это, другие же, напротив, призывали к новым грабежам и набегам, но Кушикбай твердо держался правила: оборонятьсяся, земли своей, своих табунов не отдавать, но и чужого не трогать. А то, что он при этом много раз показывал чудеса храбрости в кровопролитных схватках с врагами, окончательно упрочило его славу.

Тобет ненавидел молодого батыра и никогда больше не участвовал в походах под его началом. Мало того, он сам стал промышлять мелким разбоем. Про него ходила худая слава, что он угоняет не только джунгарские табуны, но не брезгует и лошадьми своих же казахов, выгодно меняя и перепродавая их по ту и по эту сторону Джунгарских ворот.

Велика была обида Тобета, и не меньшее зло таил он в себе. Вот почему не было для него счастливее того дня, когда он узнал о том, что Кушикбай, возвратившись из Кокшетау, опасно заболел и слег. С тех пор Тобет чуть ли не плясал от радости и несколько раз посылал своих людей справиться о самочувствии батыра. И каждый раз, когда они возвращались с дурными вестями, довольно потирал руки, явно что-то замышляя.

Но батыры рода верили, что их предводитель одолеет болезнь, потому что и сам Кушикбай верил в свою счастливую звезду, надеялся на свою силу. И народ восхищался его мужеством. «Пусть будет живым и здоровым наш Кушикбай, и дай Аллах ему долгой-долгой жизни», – говорили мудрецы Чингистау... Музыка... Древняя музыка чести.

А через день после отъезда Мергена Абылай получил письмо от Сауле, и разом оборвалась та музыка, которую он только что обрел, рухнули мечты,

погибли светлые мысли о счастье, которые оживили его заледеневшую душу, сгинул тот образ, который он так берег. Всё пошло прахом, всё было разбито – мечты, любовь, надежды, желания. Разум его застлала холодная и сумрачная пустота, ибо не было у него больше ни надежды, ни веры в людей. «И место человеку уготовано между ангелом и сатаной, и силы его скованы немыслимыми железными тисками», – вспомнил он где-то услышанную фразу.

Дрожащими руками он вновь развернул письмо: «...Так вот, виновником моего позора был тот самый парень в джинсах, которого мы встретили в ресторане. Я долго мучилась, но поняла, что не смогу ходить по земле, пока ты не узнаешь всю правду о том, что случилось со мной во время твоего пребывания в стройотряде. Глаза мои полны слёз, сердце – тоски и горьких мыслей, но теперь ты знаешь обо мне всё. Прости, что у меня не хватило сил сказать это в первые же минуты нашей встречи. Что будет с нами – решай теперь сам. Если сможешь простить – прости. Я люблю тебя...»

Абылай изорвал свое письмо на мелкие клочки и пустил их по ветру. Сегодня он не чувствовал, как встал в колонну, как зашагал по пыльной дороге. Он шел будто между сном и явью, еле волоча ноги, почти не ощущая своего безжизненного тела.

Вечером, разрываясь от злости и обиды, он написал Сауле новое письмо. А утром разорвал и его. За эту ночь с ним произошла невиданная перемена: он похудел, осунулся, глубоко запавшие глаза его горели нехорошим блеском. Зачем писать? Все слова казались ему теперь ненужными и бессильными: нужно было действовать. Ночью ему снилось, что он до смерти избил того парня в джинсах. «Убили... кончили...» – подвывал парень, но он бил и бил его, не обращая внимания на эти вопли, бил хладнокровно и методично, зло, жестоко – бил... бил... бил... Липкая кровь растекалась по лицу парня, вызывая тошноту и отвращение, дикая жестокость ужасала его самого, но остановиться он не мог. Предательская сила, не подвластная ему, руководила им. Задыхающаяся темная сила оказалась крепче разума... Ткнув тупым носком ботинка окровавленное, безжизненное тело, распростертое у его ног, он вытер руки о траву и пошел прочь. Чистое синее небо над головой, ясное солнце, радужное лето – да плевать ему на этого ублюдка, ибо всё теперь прекрасно в жизни, все о'кей!.. Злоба, обуявшая его, вдруг сменилась животным удовлетворением: враг отомщен, зло наказано, справедливость восторжествовала. Откуда было знать ему, неопытному влюбленному, только-только начинающему свою взрослую жизнь, что такая обида никогда и ничем не может быть отомщена, что эта вечная заноза в сердце всегда будет саднить, саднить... и избавление от нее приносит только смерть. Он шагал, любуясь чистым синим небом, ясным солнцем, но вдруг резко остановился, упершись в забор из колючей проволоки, и мигом осознал свое настоящее положение, положение узника, запертого в колонии и бессильного предпринять что бы то ни было. Всего он мог ожидать в конце сна, только не этого.

Нет, он не удивился. Проснувшись, он безразлично поглядел в потолок и усмехнулся: «С этого дня я перестаю быть человеком и становлюсь механическим роботом, тупой скотиной. Зачем мыслить и думать, когда мыслящего всё равно осилит какая-нибудь грязная нечеловеческая сила? Самое удобное – быть роботом. В шесть – подъем, в десять – отбой. Между двумя этими вехами – ни-че-го... Вырабатываю для себя новые правила. Запрещается: читать, думать, мечтать, сочувствовать, плакать, радоваться! Рекомендуется: душить, вешать, резать, не щадить, подличать, предавать, обманывать, убивать...»

И он вдруг истерично расхохотался, вызвав тем самым немалое удивление у других осужденных.

– Юрченко хочет «отвалить»[3], – однажды шепнул ему тот курчавый парень, который поддержал его в первый день пребывания в колонии.

– Не болтай лишнего, этого не может быть, – сказал ему Абылай, и в нем вдруг вспыхнула новая надежда.

Голова его шла кругом, он не знал, как жить и что делать, а тут вдруг в его сознании появился некий просвет. «Надо выбраться отсюда любой ценой, плевать, что досиживать осталось всего ничего, что скоро меня должны выпустить и направить на работу в народном хозяйстве... Плевать!.. Я устал ждать правды и милосердия! Я должен отомстить за обиду, иначе я сойду с ума, я должен сам защитить свою честь, иначе я не человек, а животное. И еще – подойти к ней, встать рядом, посмотреть в лицо, заглянуть в глаза, это всё, что мне нужно. И пусть всё остальное канет в бездну».

Он осторожно, исподволь стал сближаться с Юрченко и однажды завел неясную беседу с ним и его напарником Игорем, здоровенным туповатым малым по прозвищу Оглобля, на чьем лице, казалось, навечно застыла складка угрюмой жестокости и физического превосходства над всем остальным человечеством. Воры долго делали вид, будто не понимают смысла речей Абылая, а он говорил о том, как надоело ему «париться» за решеткой, что если бы нашлись смелые ребята, для которых воля дороже жизни, был бы им верным товарищем и мог бы им помочь – силенок ему, слава Богу, не занимать.

– Ладно, хватит мне лапшу на уши вешать, – вдруг сказал Кобра. – Я тебя понял. Парень ты толковый, я помню, как ты меня тогда оттянул, но обиды на тебя у меня нет. К тому же казахская степь – это не тайга. Здесь фиг до города допылишь сотню километров, тут же легавые сцапают или ваши же казахи донесут. А у тебя, говорят, здесь в ауле есть кто-то? Так что давай рискнем, возьмем тебя в компанию...

– Если нам повезет, ты себе устроишь каникулы до того времени, пока снова не «подпалимся»[4], – засмеялся Игорь, и жестокое лицо его покривилось от собственной незамысловатой шутки. Ему не нравился Абылай, он глядел на него с недоверием, опасаясь, что тот или предаст их, или подослан к ним начальством, но мысли свои он скрывал, побаиваясь сурового Юрченко, который единожды принятого решения не отменял никогда.

Подкоп, который Кобра и Игорь вели от столовой за зону, был готов, и однажды ночью троица решилась. После вечерней поверки они по одному прошли в столовую и спустились под землю.

– В час рванем, чтоб нас до рассвета не засекли, – сказал Юрченко, сидя на корточках в тесной осыпающейся яме.

– И сразу же разойдемся, да? – сказал Оглобля.

– Да. Порознь идем к карьеру, там угоним машину и доберемся до станции. Подфартит, на поезд сядем. А если нет – пойдем в аул, там нас абылаевский корешок спрячет. Так ведь? – обратился к Абылаю Юрченко.

Абылай молчал. Всё это было обговорено заранее, но он не мог себе представить, как приведет к Мергену и Сабыру-ага этих людей.

– Так или не так? – угрожающе надвинулся Юрченко.

– Скажи, у тебя есть отец? – вдруг спросил Абылай.

– Погиб... одна мать осталась. Тебе-то что? – буркнул Юрченко.

– У него пахан – казах, а мамаша – украинка, – ввязался в разговор Игорь.

– Тебя кто спрашивает? – зашипел на него Юрченко.

– Вот как! – удивился Абылай. – Значит, и на Украине живут казахи!

---

[3] Сбежать (жаргон).

[4] Не попадемся (жаргон).

– Заткнись ты, бажбан[5]. Хочешь, чтоб нас менты засекли? – Стоя на коленях, Юрченко с невероятной злобой лягнул Абылая, угодив сапогом ему в лицо. Кровь бросилась в голову Абылая, но в тесном туннеле невозможно было дать сдачи, да и шума нельзя было поднимать.

Их побег стал событием, и его вспоминали в колонии еще много лет спустя... Но им он удачи не принес. Они даже не успели добраться до станции. Их перехватили на дороге и заставили сдаться. Был суд, всем им прибавили еще по два года, и теперь время выхода Абылая на свободу существенно отодвинулось. Абылаю не себя было жаль, за эти месяцы он разучился жалеть себя. Абылай впервые с ужасом думал об отце – выдержит ли он эту горестную весть о том, что его сын получил новый срок, и надежда на их близкую встречу тает, как таяло в знойном мареве пространство той желтой степи, по которой они бежали от погони, задыхаясь и оглядываясь.

13

Возвращаясь в гостиницу, Ескендир злился. Зачем, ну зачем пошел он к Колхозжану, а не отказался под каким-нибудь благовидным предлогом и не провел свой последний алма-атинский вечер у себя в номере, отдыхая перед самолетом? Его утомили непрерывные заседания в течение двух дней командировки. «И вообще зря я сюда приехал, – подумал он, выходя на людный освещенный проспект из того тихого переулка, где жил его университетский товарищ. И тут же поругал себя: – Опять, по старой привычке, после драки кулаками машешь? Это верно, – мысленно согласился он. – Но разве найдется подходящее слово, чтобы определить то, что сейчас между нами произошло?..»

Он был недоволен собой и думал о том, что болезнь высосала из него последние силы, ибо после больницы он никак не мог воспрянуть духом. История с Абылаем мучила его, не давая расслабиться ни на секунду. Сразу же после суда над его сыном заболел первый секретарь горкома партии. Но недавно он вышел на работу, и теперь, наверное, будет поставлен вопрос об освобождении Ескендира от должности.

«Впрочем, сам уйду, если не снимут, – подумал Ескендир. – Но как так получается, что Жан обо всем на свете знает раньше всех? Информированный, ничего не скажешь. ..»

...Незаметно для других гостей Жан вызвал его на широкий балкон своего трехэтажного дома и сказал вкрадчиво:

– Ну, Ереке, если понадобится от нас какая-нибудь помощь, не стесняйся. Мы в силах выполнить любую твою просьбу, пускай не на сто, так на девяносто девять и девять десятых процента.

– Кто это «мы»? – спросил Ескендир.

– Мы – это я, – неопределенно усмехнулся Жан.

– Спасибо, мне ничего не нужно. – Ескендиру стало неловко, и он смущенно кивнул.

– Я к тому, чтоб ты помнил – у тебя есть старый друг, который кое-что может для тебя сделать.

– Спасибо, – еще раз сказал Ескендир.

– Из-за сына тебя наверняка отстранят от работы, так что переезжай в Алма-Ату. Будут, конечно, трудности с квартирой на первых порах, но остальное мы уладим.

– Что мне здесь делать? – спросил Ескендир. Он хотел добавить, что пользоваться милостями Жана для него подобно смерти, но сдержался. – Семипалатинск – мой город, я из него никуда не уеду.

---

[5] Тупой (жаргон).

– В свое время Ареке, – Жан назвал имя одного из своих начальников, – очень хотел взять тебя к себе, приглашал в Алма-Ату, но ты и с места не сдвинулся. Ты ведь у нас тоже крупная персона, так ведь? – Жан, посмеиваясь, хлопнул его по плечу.

– Да, мне и квартиру тогда давали, – вспомнил Ескендир.

– Конечно же, при той должности, что тебя ожидала... – Жан поднял палец, будто собирался проткнуть черное небо. – Но ты упустил момент. Решился бы – глядишь, и жизнь по-иному сложилась, а?

– Я ни о чем не жалею, – сказал Ескендир. – Тем более что обстоятельства не позволили мне тогда это сделать.

– Возможно, – сказал Жан, немного подумав. – Возможно, ты прав... Одно дело, когда ты сам себе голова, а другое, когда ты шестая спица в колесе, как говорится...

– Спиц в колесах не считаю, не до того мне, – сухо ответил Ескендир. – А жить нужно честно, об этом я не забывал никогда.

– Конечно же, конечно, честно нужно жить, я разве спорю, – заторопился Жан. – И вообще прости, если ненароком обидел, тебе и так несладко.

– Ты меня не обидел... – У Ескендира засосало под ложечкой. Так всегда с ним бывало, когда он начинал нервничать.

– Следует быть объективным. Ареке до сих пор тебя любит. Что уж тут скрывать, дело прошлое, я, когда ты отказался мне помочь, – тогда, помнишь? – был очень тобой недоволен, но он горой встал на твою защиту. Ты, видать, тоже малый не промах! Контактируешь с ним? Молчишь? Или, может, презентовал ему что-нибудь?.. – хихикнул Жан.

– Не контактирую, – отозвался Ескендир. – А «презентовать», как ты выражаешься, не научен...

– Ну и зря... – улыбка у Жана погасла. – Хорошо живет тот, кто умеет хорошо жить. У тебя седина на висках, а ты такую простую мудрость не усвоил.

«Зачем он пригласил меня? – гадал Ескендир. – А я зачем сюда притащился, старый дурак?» – сетовал он.

А Жан продолжал философствовать:

– Ты посмотри на Жуманова. У парня, можно сказать, молоко на губах не обсохло, а жить умеет. У него нос лучше любого флюгера чует, куда дует ветер. Он, в отличие от тебя, пошел мне навстречу в деле с братом, и я это не забыл. Насыр сейчас уже в Алма-Ате. Хорошую квартиру имеет, солидный оклад. А как же? Люди помогать должны друг другу в трудную минуту, и за это им всегда воздается сторицей. Ведь ты сына своего, можно сказать, собственными руками губишь. Дело его, если по совести, выеденного яйца не стоит. Да Жуманов один бы с этим делом справился и спас твоего Абылая. Но ты ведь у нас гордый, куда нам до тебя...

«Вот зачем он меня приглашал... Контактировать!» – осенило Ескендира, и он сразу же почувствовал ломоту в висках. Усилием воли поборов себя, он тихо ответил:

– Я понял твое нутро еще тогда, в студенческие годы, когда ты мухлевал с девушками, расписывая им свои несуществующие военные подвиги. Но думал, что это по молодости: пройдет, думал, это твое прохиндейство. И вот теперь вижу, что ошибся. Теперь ты народ обманываешь, да еще корчишь из себя патриота, всегда держа наготове высокие слова. Да только народ-то ведь не обманешь, потому что нельзя быть одновременно и проходимцем, и патриотом... Или то, или другое. А третьего не дано, третьего не может... не должно быть!..

Трясущимися руками открыл он замок и, не попрощавшись, хлопнул дверью.

– Осёл!.. Ишь, праведник выискался, – зло процедил Жан, глядя с балкона на его удаляющуюся согнутую фигуру.

...Дойдя до гостиницы, Ескендир вдруг раздумал подниматься к себе и решил еще немного погулять. Самолет вылетает рано утром, может, лучше поспать? «А,

успею еще наотдыхаться, скоро у меня будет много свободного времени», – горько усмехнулся он.

Он вспомнил, как лежал в реанимации. Сначала больница показалась ему адом, ибо первые десять дней безумный страх смерти неотрывно преследовал его. «Умру, дети останутся одни. Как же так? Почему так быстро? – мучился он и уговаривал себя: – Собери все свои силы, Ескендир. Ты должен выстоять, ты должен выжить, это твой долг. Тебе нужно поднять детей, и ты не имеешь права умирать сегодня. И ты не умрешь. Не бойся, без страха встречай свою судьбу. Пусть твои колени не дрожат, Ескендир!»

Но именно в эти, самые первые дни смерть цепко держала его в своих объятиях. Баян неотлучно дежурила у его постели, и наконец лечащий врач Газиза Галиевна велела ей, падающей с ног от усталости, идти домой, уверяя, что кризис миновал.

«Вам нужно отдохнуть, тем более что всё самое страшное позади», – сказала она. Баян посмотрела на отца, и он прикрыл глаза, как бы соглашаясь со словами врача.

«А вы, Ескендир Калиевич, ни о чем больше не думайте, – обратилась к нему Газиза Галиевна. – Иначе вас лечить будет трудно. Ведь теперь многое зависит именно от вас, от вашего настроения».

Ескендиру хотелось возразить: «Когда же думать человеку, если не перед смертью? Где найти время в этой скачущей жизни, когда можно обдумать и взвесить всё свое прошлое?» – но ему было трудно говорить, и он лишь остановил свой взгляд на красивом лице врача, перед тем как закрыть глаза. Много хорошего слышал он об известном в городе кардиологе Газизе Галиевне, и вот судьба наконец-то свела их. Немногословная решительная женщина, – казалось, самой природой ей было определено врачевать людские сердца. Каждый раз, когда она заходила к нему в палату, он с новой силой начинал верить в то, что все-таки выживет, выкарабкается, ибо нельзя подводить врача, который вкладывает в тебя всю душу, который лечит тебя не только лекарствами, но и каждым своим движением, взглядом, словом.

...Было поздно. Из закрытого ресторана выходили, громко переговариваясь, последние посетители. Ескендир опустил поднятый воротник пальто и направился в гостиницу. Теперь все-таки пора лечь и отдохнуть. Но только он открыл дверь номера, как зазвонил телефон. Междугородная.

– Папа, вы когда возвращаетесь? – услышал он голос Баян.

– Завтра утром. Как ты там?

– Хорошо. У меня всё хорошо. Я вас встречу.

– Закажи мне машину.

– Да, я сейчас сделаю это.

– От Абылая писем не было?

– Вчера получила. Целых три страницы написал...

Ескендир затаил дыхание.

– Хорошее письмо, веселое, – сказала Баян, желая порадовать отца. – И от начальника отряда есть письмо.

– Ты прочла его?

– Нет, оно адресовано вам.

– Вскрой и прочти, – нетерпеливо сказал Ескендир.

– Сейчас... – Было слышно, как Баян шуршит страницами. – Он пишет о том, что Абылай ведет себя хорошо.

– Надо к нему съездить, – сказал Ескендир, помолчав.

– Я после Нового года собираюсь...

– Вместе поедем, так будет лучше...

– Хорошо, – сказала Баян и после паузы спросила: – Папа, через три дня Новый год. Что будем делать на праздники?

– Да, Новый год скоро, – вспомнил Ескендир. – Что будем делать? Дома будем сидеть... Я буду дома, – поправился он. – А ты смотри, как знаешь...

– Я тоже хочу быть дома. Но, может, мы позовем кого-нибудь?

– Кого мы можем позвать? – нахмурился Ескендир. – Вообще-то Новый год – семейный праздник, – сказал он и тут же добавил: – Если ты хочешь, пожалуйста, я не возражаю.

– Нет, я это так спросила, – сказала Баян, умолчав о том, что ради отца она отказалась от всех компаний, куда ее приглашали. – Да, папа, вам звонила Газиза Галиевна...

– Вот как? – удивился Ескендир.

– Она сказала, что вы зря летаете на самолетах. Пока вам лучше ездить поездом.

– А где я время возьму для этого?

– Папа... – сказала Баян.

– Да, – ответил Ескендир.

– Папа... – решилась наконец Баян. – Может, нам ее пригласить?

– Кого «ее» ?

– Газизу Галиевну...

– По-моему, это неудобно, – сказал Ескендир, покраснев. Ладонь у него вспотела, он взял трубку в другую руку, думая о том, как хорошо, что дочь, находящаяся на другом конце провода, не видит его смущения.

– А что такого? Наоборот, она одинокая женщина, ей будет приятно с нами.

– Тем более неудобно звать ее одну. Тогда и еще кого-нибудь нужно пригласить...

– Но мы же решили провести Новый год в семейном кругу...

– Ну, не знаю. Решай сама. Если хочешь, позвони ей, пусть приходит.

– Нет, папа, вы должны сами это сделать. Поверьте, так будет лучше... – Голос Баян зазвучал увереннее. Она явно была довольна, что настояла на своем.

– Ладно, посмотрим, – отозвался Ескендир.

– Значит, вы приглашаете ее. Хорошо, я буду готовиться.

– Как хочешь, дочка, – сказал Ескендир, окончательно растерявшись.

– Спокойной ночи, папа. Я жду вас, – сказала Баян.

Ескендир принял душ и лег в постель, думая о том, что напрасно Баян затеяла всё это. Он погасил свет, но сразу заснуть не смог и долго ворочался в постели, то порицая себя, то вдруг радуясь, что через несколько дней вновь увидит Газизу Галиевну, эту милую женщину, которая столько для него сделала.

Устав от своих мыслей, он включил свет и решил написать письмо Абылаю.

«Дорогой сын», – начал он и остановился. Что сказать ему? О чем написать мальчику, который оказался так далеко от отцовского дома? После болезни врачи строго-настрого запретили Ескендиру курить, но теперь его подмывало выйти в коридор и спросить у первого встречного сигарету: глядишь, с первой затяжкой он понял бы, что хочет услышать от него Абылай. Но он сдержал себя. Он долго сидел, теребя волосы, и наконец снова взялся за авторучку.

«...Не знаю, почему я вспомнил эту историю. Наверное, потому, что на войне, как и в мирной жизни, бывает много случайностей. Вот служил у нас в роте с сорок второго года молдаванин Михай Боцу. Был он весельчак, хорошо пел, смешно рассказывал. Под Сталинградом от всего батальона нас осталось двадцать человек, а в нашей роте – только мы с Михаем. Как-то он сказал, посмеиваясь: “Ескендир, мы, наверное, теперь не умрем. Наша смерть осталась под Сталинградом”. И я, кажется, поверил ему. Потому что мы воевали уже на немецкой земле. Все поговаривали о том, что войне конец, что вот-вот падет Берлин, но под Веймаром немцы обложили нас сильным артиллерийским огнем. Ты помнишь, как я тебе рассказывал про Веймар? В этом городе жили

немецкие гении – Гёте, Шиллер, и я своими глазами видел их дома. Но война есть война, мы должны были во что бы то ни стало взять город. Перед атакой мы с Михаем сидели в глубокой воронке. “В одно место снаряд два раза не падает”, – засмеялся он и подмигнул мне. Но тут послышалась команда: ”Вперед! За Родину, вперед!” – и мы выскочили из воронки».

Ескендир отложил ручку и задумался. Засмеялся тогда Михай? Подмигнул ли?.. Он вдруг заволновался, желая соблюсти точность в каждой детали своего рассказа.

«Может, Михай и не смеялся, – добавил он. – Я точно этого не помню, зато помню, как он подмигнул мне. Мы выскочили из воронки и оказались в самой гуще боя. Ты не можешь представить себе, что это значит, да человек и не должен такое когда-нибудь видеть: свистят пули, воют орудия, рвутся снаряды, чад, дым, гарь, душераздирающие крики и кровь – всюду кровь, кровь...»

У Ескендира зашумело в ушах, как будто в тихий гостиничный номер внезапно ворвались звуки войны. Он зажал уши, поднялся и стал ходить по комнате. У него дрожали руки, перо больше не подчинялось ему. «Дома допишу», – подумал он, сложив листок вчетверо и спрятав его в карман. Но потом всё же совладал с собой и снова сел за стол.

«...Атака захлебнулась. Мы отступили. В разгар боя я потерял Михая из виду, но мне пришлось идти через те места, где мы с ним прятались. Проходя, я заметил у нашей воронки окровавленного солдата, лежавшего ничком, и сердце у меня забилось: “Мы, наверное, теперь не умрем”, – вспомнил я и, подбежав, перевернул его. Это был он, Михай. “Быть не может, быть не может”, – шептал я, но он был мертв. Рядом с прежней воронкой чернела новая. Осколок попал ему в висок.

“Мы, наверное, теперь не умрем”. С парнем, который весело сказал эти слова, я распрощался навеки... Мы отступали поспешно, был приказ укрыться в ближайшем лесу, и я не смог своими руками предать земле тело товарища, с которым воевал вместе четыре года...»

Ескендир действительно не знал, зачем он всё это пишет и интересно ли будет читать про войну Абылаю там, где он сейчас находится, но он понимал одно – не нравоучений и пустых советов ждет от него сын, а чего-то другого, более существенного, земного, искреннего. И может, опаленное войной прошлое отца как-то поможет ему? Ведь память не только бередит старые раны, память лечит, память крепит волю к жизни...

Он немного рассказал Абылаю о домашних делах, поздравил его с Новым годом и поставил точку.

Когда Баян приехала в аэропорт, по радио сообщили, что алма-атинский рейс задерживается на полчаса. Баян зашла в буфет, взяла чашку кофе и села за столик. Стены буфета сотрясались от гула самолетов, но с годами Баян стала спокойнее относиться к этим звукам. Путы тяжелого горя в последнее время как будто ослабели, и хотя тоска по Омару всё еще бередила душу, но сердце уже не так неистово металось в безумных попытках вернуть прошлое. Она наконец-то поняла – прошлое не возвращается, и в своем горьком одиночестве тщательно лелеяла ростки своей любви к погибшему мужу, восстанавливая в памяти те счастливые минуты их жизни, которых было не так уж много за то время, что им довелось пробыть вместе. И еще она поняла – Омар занимает в ее жизни особое место, и она никогда больше не встретит человека лучше, чем Омар, хотя всё дорогое, что связано с его именем, заново обрело плоть и душу лишь после его смерти, когда она потеряла его навсегда. Но ведь есть еще Кайрат? Вернее – был Кайрат. Так был или есть? И будет ли? Кайрат... Кайрат...

Почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, Баян подняла глаза. У стола, вплотную приставленного к стене, сидел мужчина с густой седеющей

шевелюрой. Он распахнул полушубок, горло его было плотно завязано длинным пушистым шарфом. Он не отвел своего взгляда от Баян, наоборот – стал присматриваться к ней еще более внимательно, но в поведении его не было ничего навязчивого, и Баян даже почудилось, что она читает в этом взгляде доброту и расположение. К нему подошел молодой парень и поставил перед ним чашечку кофе. Мужчина слегка кивнул ему, поблагодарив, и указал на свободное место рядом с собой.

– Досеке, вы не позволите мне взять чего-нибудь посущественней? – услышала она голос молодого человека.

– Спасибо, – сказал мужчина в полушубке. – Ничего больше не нужно...

Объявили о прибытии самолета, и Баян вышла на улицу. Дожидаясь, когда появится отец, она думала, что лицо мужчины в полушубке ей почему-то знакомо, но где и когда она могла его видеть? Знакомое лицо... очень знакомое... Добродушное и вместе с тем такое, как будто он всё время над кем-то подсмеивается...

Она увидела этого человека еще раз, когда они с отцом уже садились в машину. Он стоял под высоким деревом и, прижав шарф ко рту, натужно кашлял.

Машина тронулась.

– Вы, наверное, устали, папа? – сказала Баян отцу.

– Ничего... – Ескендир покачал головой и повернулся к ней. – А ты как тут одна жила?

– Нормально... – Баян, улыбнувшись, положила голову ему на плечо и стала глядеть в окно на укрытый снегом город.

Когда они подъехали к железнодорожному переезду, дорогу им перекрыл шлагбаум.

– Пассажирский, быстро пройдет, – сказал шофер.

– Да? Хорошо, – рассеянно отозвался Ескендир.

– Папа, у вас что-то случилось? – осторожно спросила Баян.

– Нет. – Ескендир погладил руку дочери. – Просто-напросто задумался. Ты куда сейчас, на работу?

– Я хотела, чтоб мы сначала позавтракали. А у вас какие планы?

– Мне нужно в горком.

– Папа, я давно хотела вас спросить... – замешкалась Баян.

– Спрашивай.

– Правда, что вас снимают с работы?

– Не знаю. Наверное... – Ескендир пожал плечами. – Я написал заявление, чтоб мой вопрос рассмотрели на бюро горкома. Я считаю, что не могу больше занимать свой пост.

– Папа! – Баян поцеловала его. – Нет никого на свете лучше вас! Я ждала от вас только такого решения.

– Обычно дети огорчаются, когда их родители теряют крупные должности, а ты радуешься... – Ескендир удовлетворенно смотрел на дочь.

– Разве это не ваша фраза: «Ничто так дорого не ценится на земле, как правда»?

– Да, конечно... – подтвердил Ескендир. – Наверное, моя...

Бюро горкома партии освободило от работы председателя городского суда Ескендира Калиева. Его вопрос был единственным на повестке дня, и на этом заседание закончилось. Члены бюро поднялись и вместе с Ескендиром направились к выходу.

– Ескендир Калиевич, задержитесь на минутку, – сказал первый секретарь горкома Васильев.

Они остались одни в просторном кабинете.

– Курите, Ескендир Калиевич, – предложил Васильев.

– Спасибо, я бросил, – отозвался Ескендир.

Васильев, легко ступая, подошел к окну, раскрыл форточку и стал расхаживать по кабинету. Он явно был в затруднении, не зная, с чего начать разговор, и, попыхивая сигаретой, лишь испытующе поглядывал на Ескендира.

– Павел Васильевич, давайте без церемоний. Можете не жалеть меня, говорите всё начистоту, – сказал Ескендир.

– Простите, Ескендир Калиевич. – Васильев подошел к Ескендиру. – Я вас ценю именно за эту вашу прямоту. Садитесь, пожалуйста...

Они уселись по обе стороны длинного стола.

– Мне хотелось, чтоб вы знали: лично я уважаю вас, ваше отношение к работе, вашу честность, твердость. И я хочу, чтоб у вас не было обиды по поводу принятого решения...

– Я не имею права обижаться на кого бы то ни было. Требования у нас ко всем одинаковые. Вы и так целый год держали меня на моем посту, пока выяснялись все обстоятельства. К тому же я сам написал заявление, так что ни на кого обижаться не собираюсь... Я понимаю – работа в суде несовместима с тем, что случилось с моим сыном. Но говорить больше на эту тему я не хочу.

– Понятно, – пробормотал Васильев. – Ескендир Калиевич, может, вы уже присмотрели себе какую-нибудь работу? Поставьте нас в известность, мы поможем вам...

– Павел Васильевич, я для начала хотел бы пару месяцев отдохнуть, я совсем измотался, да и сердце до сих пор пошаливает...

– Ну, если так, тогда отдыхайте, а мы тем временем о вашей будущей работе подумаем. Не возражаете?

– Разумеется, нет, – сказал Ескендир.

– Вот и хорошо... – Васильев поднялся и, вежливо улыбаясь, протянул Ескендиру руку. – До свидания, – сказал он.

– До свидания, – ответил Ескендир.

Выйдя на улицу, он почувствовал легкость во всем теле и, оглядевшись по сторонам, направился к набережной Иртыша. «Всё кончилось, – подумал он. И всё кончилось правильно». На реке никого не было, лишь вдалеке, на острове, виднелись фигурки лыжников. Он шел вдоль берега. Чистый снег кругом, чистый белый снег. Макушки деревьев, речной лед, асфальт на тротуарах, бетон набережной – всё было покрыто свежевыпавшим снегом. Пушистый легкий снег, он готов слететь с деревьев, стоит дунуть легкому ветерку!.. Лучи солнца, выглянувшего из-за туч, отражаясь на снегу, сверкнули так сильно, что Ескендир на секунду зажмурился. А когда снова расскрыл глаза, то увидел, что мир в один миг стал ослепительно ярким. Глаза Ескендира, смотревшего на сверкающий снег, заслезились, и он прикрыл их ладонью.

...Как в тот день, когда он, точно так же заслоняясь ладонью от ярких лучей солнца, входил во двор санатория. Телеграмма от главного врача была у него в кармане, и дежурная, молодая женщина-врач, прочитав ее, повела его в палату Айши. «А что, ей стало хуже?» – встревожился Ескендир. Врач ничего не ответила, молча посмотрела на него, как бы спрашивая: если бы не было хуже, разве мы вызвали бы вас? Когда они вошли в палату, медсестра, сидевшая у изголовья кровати, быстро поднялась сказала шепотом: «Спит после укола». Врач опять промолчала, только кивнула головой. Черные волосы Айши разметались по белой подушке. Исхудавшее лицо ее пожелтело, прямой тонкий нос заострился, на лбу копились бусинки пота, весь ее облик выражал состояние человека, съеденного болезнью. Ескендир содрогнулся от жалости к жене, он тяжело опустился на стул, принесенный медсестрой.

Он хотел погладить костлявую руку жены, лежавшую поверх одеяла, но медсестра тронула его за плечо, как бы говоря – не тревожьте больную, и он

дернулся, как от ожога. На белой руке Айши явственно проступали тонкие синие вены, и казалось, что они расположены не под кожей, а сплетают свой узор на ее поверхности. Ресницы Айши дрожали, она сделала такое движение, будто собиралась открыть глаза, но не открыла, и теперь Ескендир ясно слышал, как часто и прерывисто она дышит. Он перевел взгляд с желтого лица жены на окно. Легкий ветерок сдувал пушистый снег с вершин деревьев. Медсестра и врач тихонько вышли из палаты, и Ескендир стал опять смотреть на лицо жены. Ее губы приоткрылись, и по лицу как будто пробежала тень смущенной улыбки, но потом оно снова стала непроницаемым. Действительно ли мелькнула тень улыбки на лице Айши или это лишь показалось Ескендиру, которому так хотелось после долгой разлуки вновь увидеть эту знакомую улыбку? Неужели она почувствовала, что он рядом?! Иначе чем можно объяснить эту странную улыбку у больной, тяжело, безнадежно больной? «Мне показалось, – подумал Ескендир. – Конечно, показалось...» Левый уголок губ Айши дернулся вверх, вниз, и по лицу вновь прошла волна улыбки. «Это только обман, – снова не поверил Ескендир. – Обман... Гримаса... смерти...» Но он понял, насколько дорога ему Айша, если даже ее слабая улыбка так волнует его... Ее улыбка... Ее знакомая улыбка... Всё его существо было объято этой памятной улыбкой, и его глаза улыбнулись ей в ответ...

...Ескендир уже издали заметил Айшу, которая пришла на свидание в нарядном длинном платье. Оправив гимнастерку, он еще раз критически оглядел себя. «Вот. В военной форме вы мне нравитесь», – улыбалась Айша. Ескендир смутился оттого, что красивая, со вкусом одетая девушка так смотрит на него, и, уставившись в землю, замешкался с ответом. «Мне не хочется в кино, пойдемте гулять», – сказала она. Ескендир молча последовал за ней. «По-моему, вы хороший человек», – сказала Айша, не обращая внимания на его смущение. Она потянула Ескендира за руку, и они побежали к трамвайной остановке. Потом они сидели на скамейке в тихом уголке парка.

Ескендир рассказывал забавные истории из жизни своего аула в предвоенные годы, смешил Айшу и сам вместе с ней смеялся.

«А я и не думала, что мне с вами будет так хорошо», – сказала она.

«И я не думал, – сказал Ескендир. – Мне кажется, что я вернулся с войны только ради вас».

Ему было очень весело, и он радовался, что ухитрился сегодня не ударить в грязь лицом перед девушкой, чуть-чуть даже удивляясь своим внезапно открывшимся способностям рассказчика.

«Я всё болтаю да болтаю. А вы ничего о себе не говорите», – вдруг спохватился он. Айша с улыбкой посмотрела на Ескендира: «Придет время, всё узнаете. Зачем спешить? Не спешите»…

Айша тяжко простонала, запекшиеся губы ее шевельнулись. Снова дрогнули ресницы, и чуть-чуть приоткрылись глаза с пожелтевшими белками. Но эти глаза ничего не увидели...

...Три бедные юрты стояли у подножия скалы, и крохотная девочка, игравшая в тени одной из них, вдруг заметила, что по дальнему склону голубых гор спускается вниз табун лошадей. Она остановилась, сдунула с глаз ниспадающую челку и, повернувшись к юртам, закричала: «Апа, апа! Отец едет!..» После чего, сверкнув босыми пятками, побежала навстречу. Из юрты вышла статная байбише в белом кимешеке[6]. Согнув ладонь, она долго смотрела в сторону гор, потом налила воды в черный казан, развела огонь и наполнила печку сухим кизяком. А крохотная девочка всё бежала и бежала, путаясь в высокой траве.

«Отец! Отец! Отец!..»

[6] Головной убор.

Синее небо, голубые горы, зеленые луга, красные пятна тюльпанов по склонам, бегущая девочка...

«Айша...» – тихо позвал Ескендир. Ладонь ее горела сухим жаром, но кончики пальцев заледенели.

«Отец!.. Отец!..» Отец, посадив ее на коня, идет рядом.

«Не упади, доченька...» Девочка смело скачет к табуну, чтобы повести его на водопой.

«Живи и радуйся, свет мой! – шепчет усталый отец, крупными шагами направляясь к юрте. – Дай бог тебе жизни! Дай бог тебе счастья!..»

Та же самая бедная юрта табунщика у подножия скалы. Айша идет к юрте. Но теперь она уже не прежняя босоногая девочка, а взрослая, красивая девушка. Изрядно поредевший табун пасется на склоне голубых гор. Синее небо, голубые горы, зеленые луга, красные пятна тюльпанов... Всё то же. Всё как раньше. Над очагом склонилась грузная, опухшая от слез женщина. Увидев ее, девушка крикнула: «Апа! Апа!..»

«Приехала, зрачок моих глаз!.. – Путаясь в подоле длинного ситцевого платья, женщина бросилась к дочери. – Приехала, красавица моя!.. Если бы видел тебя сейчас наш отец! Как бы он был рад! Как бы гордился тобой!.. О, будь проклята эта война! Ненавижу тебя, война, отнявшая у нас кормильцев и опору нашу!..» Обняв дочь, рыдавшая байбише отпускала проклятия, и Айше казалось, что голос ее – это голос всех вдов Казахстана, и плач ее, режущий уши, – это весь их горестный плач.

«Перестань, апа, апа!.. Перестань!..» – шептала она, не замечая, что сама плачет вместе с матерью. Длинные ресницы, чуть приподнявшись, опустились и прикрыли сузившиеся зрачки. Из левого глаза выкатилась слеза.

«Айша... Айша... – снова позвал Ескендир. Он еще надеялся на что-то и не отрывал от жены глаз. – Это я, Ескендир, Айша!.. Ты узнала меня? Айша, ты узнаешь меня?..»

Слеза, медленно катившаяся по щеке, остановилась. Ескендир, наклонившись, поцеловал Айшу, поцеловал эту слезу, остро ощутив на языке ее горький, соленый привкус. От подушки, от волос Айши пахло лекарствами.

«Меня кто-то целует?»

«Это я. Я соскучился по тебе»...

«Ты кто?»

«Я – Ескендир, твой муж».

Ресницы ее затрепетали, но она не смогла разомкнуть глаз. Знакомый теплый голос, который только что слышался у ее уха, куда-то удалился, и звук погас.

«Я слышала твой голос, так где же ты? Где ты? Забери, увези меня отсюда, я изнемогаю. Маму... маму... позови... детей... мне надо увидеть их... Увези меня, забери меня... Я родилась в голубых горах и хочу умереть там, а не здесь, на больничной койке. Нет, нет, молчи, теперь ты мне ничем не поможешь, но я на тебя не в обиде, Ескендир, муж мой... Только увези меня отсюда... хотя бы в сосны твоего Семипалатинска, ведь ты не довезешь, не довезешь меня до моих высоких гор... Но если тебе придется провожать меня в последний путь, похорони меня там, под синим небом, среди голубых гор и зеленых лугов родимой стороны... Зарой меня рядом с матерью, положи мне на могилу красные тюльпаны, и я наконец-то обрету покой...»

«Вы устали, вам пора отдохнуть», – сказала медсестра Ескендиру, который уже несколько часов кряду неподвижно сидел у постели Айши.

Он отрицательно покачал головой. Он не мыслил застать жену в таком состоянии и никогда не думал, что предчувствие, которое поселилось в нем, когда-нибудь станет этой ужасной реальностью. Теперь... теперь всё было понятно.

Теперь он жаждал лишь одного – чтобы она все-таки узнала его. Узнала и что-нибудь сказала, ну хоть что-нибудь, ну хоть одно слово...

Айша опять открыла глаза, но они вновь глядели в какое-то другое, нездешнее пространство.

«Кто сидит рядом со мной? Почему он сжимает мои пальцы? Почему он так тяжко вздыхает?»…

…В горы пришла осень. Пожухла трава, деревья в глубоком ущелье упирались голыми сучьями в низкое небо. Обычно трава у речки сохраняла свой зеленый цвет и под снегом, но теперь всё изменилось в округе. В прошлый ее приезд мать сказала Айше: «Смотри, как обмелела наша река». И действительно, вода в Чагане была намного ниже линии берега. Всё это Айша вспомнила потом, а первые три дня она провела в слезах – у подножия скалы уже не было старых юрт, теперь здесь стояло несколько домов, крытых шифером, отделение нового колхоза, и в одном из этих домов умерла ее мать, та самая, некогда статная байбише в белом кимешеке, которая так любила ее и которую похоронили за аулом на том самом склоне, где когда-то паслись табуны лошадей.

С ее смертью Айша лишилась самого родного человека на земле, но у нее оставался Ескендир, и в ней самой зарождалась новая жизнь. Лишившись матери, она сама готовилась стать матерью, но это не могло уменьшить ее горя.

Ескендир задержался у могильного холмика, преклонив колени. Айша, беременная, подурневшая, с коричневыми пятнами на скулах, неуклюже держалась за него. Аульчане разошлись – время было вечернее, пора было управляться со скотиной. Озаряя светящимся пламенем верхушки голубых гор, кровавый диск солнца скатывался за высокие скалы. Повеяло ночной прохладой, и Ескендир, сняв пиджак, накинул его на плечи молодой жены.

«Пошли домой», – сказал он.

Она слышала этот заботливый голос, но у нее все еще не хватало сил, чтобы двинуться, сделать шаг, другой.

Он взял ее под руку. Когда они спустились вниз, она еще раз оглянулась, увидела маленький бугорок, под которым навеки осталась лежать мать, и по телу ее прошел озноб.

«Ойпырмай!» – дико вскрикнула Айша. Схватившись за свой тяжелый живот, она согнулась в три погибели. У нее начались родовые схватки.

Это было в ту ночь, когда вдруг пошел крупный ливень и вслед за ним поднялся такой ураган, какого здесь не видели уже лет десять – пятнадцать. За ночь ветер снес крыши домов, и утром люди узнали, что четыре стада не вернулись в кошары, а все юрты на джайляу разметало. В эту ночь на берегу Чагана, который из тихой речушки мгновенно превратился в ревущий поток, сметающий всё на своем пути, вместе с раскатами грома, споря с непогодой, вдруг раздался плач новорожденного, и голос его, такой же свободный и капризный, как сама природа, не умолкал до утра. В эту ночь на берегу Чагана, в материнском доме, Айша родила дочку, которую потом назвали Баян, и было это на том же самом месте, у подножия той же скалы, где двадцать два года назад в бедной юрте статная байбише дала жизнь ей, своей дочери.

К утру окрестные жители все как один собрались у их маленького домика. Кто нес камыш, кто – кошму, доски: всем хотелось защитить дом, в котором родился ребенок. «Остальное потом сделаем, завтра», – говорили они, но непогода стихла лишь через несколько дней, стихла неожиданно, разом: из-за кочующих рваных туч выглянуло солнце, согрело всё вокруг, и в горах стало светлым-светло...

…Почему же теперь так темно? Она с трудом приоткрыла глаза. От света лампы, стоявшей в изголовье, глазам стало больно, и, закрывая их, она успела мельком заметить, что у ее постели сидит какой-то человек. Его лицо было знакомо ей, однако у нее уже не оставалось ни сил, ни желания понять, кто это, – тяжело вздохнув, охнув, она снова ушла в себя.

Но присутствие этого человека всё же ощущалось ею. В последний миг ей захотелось повернуться к сидящему, но и на это не хватило сил, и она осталась лежать в неудобной позе. Ескендир, поняв ее, осторожно уложил жену на левый бок. При этом он еще раз с ужасом почувствовал, как она исхудала: когда-то полные руки высохли, круглые плечи опали, она была совсем легкая.

Через минуту Айша начала беспокойно метаться, она громко стонала, дыхание ее стало тяжелым, прерывистым, она дышала как-то торопливо, будто задыхаясь, грудь ее судорожно вздымалась, слабой рукой она сбросила одеяло. Ескендир выбежал в коридор. Когда он вернулся с медсестрой, Айша всё так же металась, а одеяло уже валялось на полу.

Медсестра сделала ей укол, и она успокоилась.

«Ложитесь, отдохните, я присмотрю за ней», – снова предложила медсестра, но Ескендир опять отказался.

«Спасибо, я хочу остаться с ней».

...В общежитие Ескендир и Айша возвратились из центрального парка довольно поздно. Они провели вместе почти весь день, но им не хотелось расставаться, и они еще долго стояли у окошка на лестничной клетке четвертого этажа. Студенты, проходившие мимо, были изрядно удивлены. Еще бы! Как получилось, что самая красивая девушка в общежитии ухитрилась найти общий язык с самым робким из парней, который, вмиг преобразившись, о чем-то ей увлеченно толкует, нисколько при этом не смущаясь. Студенты таращили на них глаза и, ухмыляясь, исчезали в своих комнатах, чтобы поделиться сенсационной новостью с приятелями.

«Вам, наверное, пора идти спать?» – спросил наконец Ескендир.

«А вам что, стыдно перед ребятами? – нахмурилась Айша. – Если так, давайте расстанемся».

«Нет... – И Ескендир все-таки засмущался. – Вообще-то я сначала трусил, вернее – стеснялся, но теперь это у меня прошло».

Айша внимательно посмотрела на него: «Я же говорила – вы такой замечательный».

«Может, вы обманываете себя?»

«Мне кажется, вы рождены для семьи».

«Откуда вы это узнали?»

«Об этом мне сказали ваши глаза».

«Вот как? – Ескендир приблизил лицо к оконному стеклу. – А мне они ничего не говорят».

«Вам они не скажут... А если и скажут, вы вряд ли их поймете...»

Колкие шутки ребят из моей комнаты были в ту ночь направлены исключительно в мой адрес. Для своих упражнений они избрали старинную казахскую пословицу про арбу и зайца.

«Вот-вот, правильно говорится: если не спешить, то и на арбе можно зайца догнать», – сказал один из них.

«Значит, наш Ескендир – арба?»

«Нет, он заяц».

«Ты путаешь, зайцем он был до сегодняшнего дня, а теперь он – арба. Вернее, арбакеш...[7]»

«Скажи, а может быть арбакеш женского пола?»

«Ты к чему это?»

«Да к тому, что, может быть, он и не арба, и не заяц, а тот вол, который будет тянуть арбу, на которой сидит арбакеш женского пола, уже приготовивший хороший кнут, чтобы погонять нашего бедного вола...»

«Нет, ты не прав. Он не арба, не заяц, не арбакеш и не вол».

---

[7] Кучер.

«А кто же он?»

«Он – крупный икс нашего маленького общежития...»

Я выслушал все их шутки, лег в постель и отвернулся к стене, показав тем самым, что не собираюсь вступать с ними в перепалку. Истощив всё свое остроумие, ребята угомонились и заснули.

Лишь мне опять не спалось. Я встал. Мои товарищи похрапывали. В окно были видны крупные звезды. Я смотрел в темное небо, снова и снова думая об Айше, – казалось, лицо ее растворилось в темном небе и на меня глядели ее черные, блестящие, как ягоды черемухи, глаза. «Айша, – шептал я. – Айша...» Она не ответила мне, но ее глаза вместе со звездами глядели на меня...

...Обхватив колени, Ескендир сидел на вагонной полке и смотрел в окно. Темное небо. Черные улыбающиеся глаза Айши. Тогда он еще не знал, что это видение навсегда останется в его памяти и будет сопровождать его всю жизнь. Это видение не покидало его и сегодня, после смерти Айши, когда он коротал ночь в поезде, идущем через заснеженную степь.

Он долго прислушивался к монотонному стуку колес, но и это ему надоело. Он поднялся, вышел в коридор. Ночной коридор был пуст, и он встал у окна. Снежная степь, лунная ночь. В небе – мириады звезд. Снег искрится, сверкает, то ли от огней поезда, то ли от света звезд. И на фоне этого искристого снега Ескендиру вдруг вновь явилось видение – черные улыбающиеся глаза Айши, а затем и сама она показалась.

Да, это была Айша. Она легко скользила по глубокому снегу, не отставая от поезда. Распущенные черные волосы покрыли ее белые плечи, развевалось белое платье. Сквозь морозные узоры оконного стекла было видно, она простирает к мужу обнаженные руки. Ескендир закрыл глаза. В одном из вагонов этого поезда стоит цинковый гроб. В последний раз он прикоснулся к ее мертвому телу, помогая уложить ее в этот гроб. Он своими руками внес гроб в вагон, и теперь ее больше нет. Это – последний ее путь на земле, путь между Кокшетау и Семипалатинском – ее последний путь. Табун, высокая трава, синее небо, горе, удачи, радость, страх – всё кончилось для нее.

Он раскрыл глаза, и видение исчезло. Лишь сухая поземка заметала снежные склоны...

...Когда он помог ей повернуться на левый бок, ей почудилось, что она видит знакомый силуэт, и голос, успокаивающий ее, казался таким родным, что у нее сжалось сердце, и она надолго потеряла сознание. К утру, придя в себя, она сразу вспомнила этот голос.

«Ескендир»,– прошептали ее губы.

Но Ескендир, сидевший рядом, в предутренней полудреме, не заметил ее слабых усилий выговорить его имя, а если бы и заметил, то вряд ли смог разобрать, что она хочет сказать.

...Ночью, перед отъездом сюда, в Кокшетау, Айша, лежа рядом с мужем, гладила его волосы, и разве мог Ескендир подумать, что эта поездка в санаторий станет для нее последней.

«Я постарела, и твои виски поседели...»

«Много лет жизни прошло, Айша... Главное, чтоб ты вылечилась. Других желаний у меня нет...»

«Мне больно от мысли, сколько хлопот я тебе причинила...»

«Жизнь невозможна без хлопот. Поскорей выздоравливай и возвращайся. Мы будем ждать тебя с нетерпением».

«И все-таки я оказалась слабой, Ескендир... Чтобы преодолеть горе, нужно достоинство. Но смерть заглядывает тебе в глаза, и ты теряешь всё свое достоинство...»

«Нет, ты по-прежнему ошибаешься...»

«Я знаю это. Теперь я это точно знаю...»

Айша крепко обняла мужа и заплакала.

«Все последние годы мы очень плохо жили с тобой. Прости меня. Когда-то я думала, что мы вечно будем счастливы, и свято верила в это. Во всем виновата я, я сама, Ескендир... Одна я...»

«Никогда, никогда больше так не говори!..» – привстал Ескендир.

Она спрятала лицо у него на груди.

«А может, я действительно вылечусь и мы с тобой заживем по-другому? Ескендир, ты помнишь первые годы нашей жизни? Помнишь?..»

«Помню. Конечно, помню. И всё еще будет хорошо, – сказал Ескендир и повторил: – Да, всё будет хорошо, Айша...»

«Ты снова повезешь нас к морю. Мы все поедем. И маму возьмем с собой... Соленые брызги на берегу, море смыкается с небом на горизонте, и парят чайки, помнишь?..» – бормотала она, засыпая.

Айша проснулась на рассвете, но вставать ей не хотелось, и она еще долго лежала, прижавшись лицом к теплому плечу спящего мужа.

«Чтобы стать счастливой, женщине нужно иметь огромное терпение, – думала она. – Женщина может быть и спасительницей дома, и его несчастьем. Нам легко валить всю вину на мужчин. Говорим, что они пьют водку. Да, пьют, но почему они пьют? Будь дома настоящая жена, жена терпеливая, веселая, заботливая, мужчина не станет таскаться по кабакам, он будет стремиться домой, в тепло и уют. Они начинают пить, потому что у них не остается ни капли сил, чтобы вести семью по истинному пути. Как тяжело вразумить распустившуюся женщину, знает только женщина. Мы говорим: век просвещения, век равноправия, век эмансипации, век торжества женщины. Но рано праздновать победу, рано и глупо: век торжества женщины легко может превратиться в век поражения семьи...»

Ей вдруг отчего-то стало ужасно жаль себя. Не будь этой проклятой болезни, разве начала бы она пить? Разве тянулась бы она к рюмке, если бы не постоянно давящая на нее угроза смерти?.. Но как остановиться? Как сбросить цепи этого безумия?

«Опомнись, Айша», – прошептала она.

Она поднялась, когда услышала, что кто-то возится на кухне. «Бедная мама, измоталась, наверное, – подумала она, укрыв мужа одеялом и нежно поцеловав его. – Встала, чтобы завтрак приготовить. Как бы мы жили, если б не бабушка?»

«Ей, ты зачем проснулась ни свет ни заря», – нахмурилась Макпал, увидев ее.

«Хочу хоть немного помочь вам. А то я в последние годы в больнице больше живу, чем дома».

«Перестань, не смей так говорить. Ты не выпросила себе эту болезнь у Аллаха!» – рассердилась старуха.

«Всё, мама. Я молчу». – Айша улыбнулась, подошла к свекрови и обняла ее.

«Бросила бы ты пить эту горькую воду», – прошептала мать.

Айша села на стул и посмотрела в окно. Поздняя осень. Листья на деревьях, не смея противиться слабому ветру, кружатся, падая на землю. Весь их двор в желтых опавших листьях.

«Брошу. Обязательно брошу», – еле слышно ответила она...

…Только оказавшись на заснеженном острове, Ескендир очнулся от своих воспоминаний и с удивлением обнаружил, как далеко он находится от дома. Вечерело. Ныли усталые ноги. Он вышел на зимник, чтобы остановить попутную машину, но машин, как назло, не было. Поплотнее запахнувшись, он зашагал по направлению к городу, а возвратившись домой, принял горячий душ и лег отдохнуть до возвращения Баян. Нелегкий день довелось пережить ему сегодня.

«Всё кончилось. И всё кончилось правильно», – снова подумал он.

Продолжение в № 11, 2026.